

## Annotation

Неспокойно ныне в царстве Росском. Того и гляди отойдет царь-батюшка. Недовольны бояре. Плетет интриги царица, пытаясь спасти единственное дитя свое. Беспокоятся маги. Бродит по рукам проклятая книга, по-своему судьбы мира перекраивая. Вот и отправляются студиозусы подальше от столицы беспокойной, в которой мятеж зреет. Глядишь, на свежем воздухе целее будут. Да только сколько ни беги, а со своей дороги не сойдешь. И встречает гостей проклятая деревня. Пробуждаются к жизни болота. Азары и те не дремлют, готовые кровь негодного наследника пролить. И как Зославе быть? Разве что поступить по совести, а там уж как Божиня судит...

\* \* \*

Карина Демина ГЛАВА 1

ГЛАВА 2

ГЛАВА 3

ГЛАВА 4

ГЛАВА 5

ГЛАВА 6

ГЛАВА 7

ГЛАВА 8

ГЛАВА 9

ГЛАВА 10

ГЛАВА 11

ГЛАВА 12

ГЛАВА 13

ГЛАВА 14

ГЛАВА 15

ГЛАВА 16

ГЛАВА 17

ГЛАВА 18

ГЛАВА 19

ГЛАВА 20

ГЛАВА 21

ГЛАВА 22

ГЛАВА 23

ГЛАВА 24

ГЛАВА 25

ГЛАВА 26

ГЛАВА 27

ГЛАВА 28

ГЛАВА 29

ГЛАВА 30

ГЛАВА 31

ГЛАВА 32

ГЛАВА 33

ГЛАВА 34

ГЛАВА 35

ГЛАВА 36

ГЛАВА 37

ГЛАВА 38

ЭПИЛОГ

notes1

2

3

4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15

\* \* \*

Карина Демина

ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА

ГЛАВА 1

Подорожная

Грукали[1] колеса, прыгаячи по камням. А чем далее, тем больше оных камней встречалось. Ох и неровная ныне дороженька – то ямина, то ухабина, этак, глядишь, до Выжаток и не доползем засветло. Я поводья подобрала и цокнула языком, поторапливаючи коняшку. Надо сказать, что скотина нам досталась на диво спокойная, сонная, идетъ-бредеть, головой киваетъ, сама себя убаюкиваючи. И не пужають ее ни добры молодцы в броне да при оружии, ни ельник темный, ни даже

сова, которая, на день не поглядевши, перед самой конской мордой проскользнула. Я и то охнула, семки рассыпавши, а кобылка наша только вздохнула тяжело, дескать, никаких условий для жизни.

Я поерзала.

Притомилась, честное слово, сидючи.

Оно-то, может, и полегше, чем в седле да на тряской конской спине, а все одно... С утра едем, в полдень только над речкой остановились, коням роздыху дать, да и люди не из железа, чай, кованы. Вона, упреди в своих кольчугах. Лойко Жучень красен сделался, что рак вареный. Ильюшка пот рукавом обтирает. Еська и тот примолк.

Молчит да на телегу нашу поглядывает.

На меня, стало быть.

И на девок, которым вроде бы как и делать тут нечего, а они на Еську пялятся круглыми глазищами. Ресницами хлопают, губешки поджимают, носы деруть. Конечно, боярыни, не чета мне.

– Эй ты! – Молодшенькая бойкой была, всю телегу облазила, а старшая-то хворала, в платки пуховые укуталась, только нос наружу торчит. Как не сопрела?

– Слышишь, девка? Моя сестрица желает знать, когда мы наконец приедем?

Я глазом на боярыню покосилась.

А хороша.

Юна, конечно, но Люциана Береславовна сказывала, что в стародавние времена и в десять годков выдать замуж могли, да и поныне, бывало, только дитя народится, а его ужо и сговорили.

– Что молчишь? Тупа слишком, чтобы понять? – Боярынька хлопнула себя по сапожку кнутом.

Все-то ей нейметяся...

А я голову опустила.

Дурновата? Может, и верно, что дурновата. Иная б за косу темную ухватила да дернула, на боярское звание не поглядевши. А я терплю что невестушку Арееву хворую, что сестрицу ейную... Как же, Ильюшка просил... Он за ними что за малыши ходит.

– Божиня помилуй. – Боярынька воздела очи к небесам, будто и вправду Божию узреть чаяла.

Я тож глянула. Ан нет, нету Божини... Вона, нетопырек пронесся только. Вечереет, стало быть. Под вечер нетопыри вылазят, мошек ловят.

Рухавые[2] они.

И до белого страсть охочие. У нас, в Барсуках, одной раскрасавице в волосья, помнится, вбился, вот крику-то было. Я представила, как оно б, ежели б нетопырь – и в боярские косы. И так мне смешно стало, что не удержалась, хихикнула. А с того боярыньку прям перекосило всю.

– Ты еще пожалеешь! – зашипела она и кулачком своим худлявым мне погрозила.

А тут аккурат телега на очередную колдобину наскочила и так тряхнулась, что не усидела боярыня, плюхнулась поверх мешков не то с мукой, не то с гречей, но одно – пропыленных, грязных, о боярском достоинстве не ведающих.

Ох и зашипела!

Кошкой ошпаренной вскочила – и шусь в конец телеги, в закуток, в котором ее сестрица не то дремала, не то вовсе помирала. Пожалеть бы ее, да... не столь уж добра я, чтоб девку, на чужого жениха позарившуюсь, жалеть. И вот вроде ж разумом понимаю, не ее то вина и не Ареева, а сердце разума не желает слушать. Сердцу-то едино, кто виновен, вот и невзлюбило что красавицу Любляну, что сестрицу ее молодшую.

Оно-то невзлюбило, а я ничего.

Терплю.

Сижу вот. Вожжи в руках держу, семки лузгаю да понять пытаюсь, как оно так вышло, как вышло?

Весна была.

Пришла духмяной волной первоцветов, а следом за ними – покрывалом цветастым, где каждая ниточка – наособицу. Вспыхнула, сыпанула на землю щедрым теплом, дождями пролилась... да и ушла.

Изок, первый летний месяц, стрекотом кузнечиков полный, сессию принес, которую я, к превеликому диву своему, сдала. И не сказать, что сие далось столь уж тяжело. Нет, над книгами пришлось посидеть, да привыкла я к тому, видать, что головой, что задницей... посидела.

Ноченок не поспала пару.

И сподобилась.

И главное ж, супротив опасениев, никто не лютовал. Фрол Аксютрович был мягок, Марьяна Ивановна – добра, Лойко и того простила с евонными зельями, которыми только ворогов травить. Люциана Береславовна, конечно, вопросами меня закидала, что навозную яму прелой листвой, да сама ж меня и готовила, а потому нестрашны оказались мне те вопросы. Ответила, сама только диву давалась, как оно выходило-то, что и то знаю, и еще это, и даже то, про которое вроде краем уха слышала, да чего услышала, то и припомнила.

Ага...

Сдала, стало быть.

К огромному бабкиному неудовольствию. Она-то, уставши на перинах леживать – никогда-то за всю жизнь столько не лежала, как за эти два месячика, – с новой силой взялась меня вразумлять. Мол, чего учиться? Этак и до седых волос в Академии застряти можно, а жизнь, она идет-то...

Бежит, прискакиваючи.

И в первый день червеня усадила я таки бабку на подводу. Ох и мрачна она была, что сын поутряни. Губенки поджала. В шубейку, Киреем даренную, укуталась, золотом обвешалась, как только силенок хватило с обручьями да перстеньками сладить. Станька при ней. И жаль ее, поелику ведаю, что вся бабкина обида на Станькину безвинную головушку выплеснется, а оставить в столице... и бабку без пригляду...

– Ты не думай, – Станька меня по руке погладила, – я все понимаю. Захворала она, а поправится – и прежней станет.

Я только вздохнула. Может, конечно, и станет, да... Чем дальше, тем меньше в то веры. Но что уж тут поделаешь? Не отказываться же? Пусть и крепко переменялась моя Ефросинья Аникеевна, а все одно родная, и не бросишь ее, не выставишь за ворота, сказав людям, будто ведать не ведаешь, знать не знаешь...

– Ты ее до тетки Алевтины довези. Она, глядишь, и сподмогнет.

– Ишь, шушукуются, – не удержалась бабка, на мешках с шерстью ерзаючи. – Что, сговорились? Иль, лядащие... бабку спровадят, а сами блудить... За вами глаз да глаз нужон...

И пальчиком погрозила.

А на том пальчике перстней ажно семеро. Царской теще меньше носить невместно.

– Ох, не те ныне времена пошли, не те... – Бабка головой покачала. – Пороть вас некому... Был бы жив твой, Зослава, батюшка, он бы за розгу взялся...

Поцеловала я бабку в напудренную щеку – без пудры она, как и без украшений, ныне на люди не казалась, а я и не спорила, пушай, если ей с того легче, и сказала так:

– Свидимся еще... я летом приеду.

– Кому ты там нужна? – ответила она и отвернулась.

Обидно?

Обидно. И горько. И от этой горечи душа кривится, корежится, что дерево, в которое молния ударила. Ничего, не перекорежится, верить надобно. В то, что сыщется у тетки Алевтины средь трав проклятых тайное средство, которое бабке моей разум вернет и душу залечит. В то, что станет она, как прежде, мудра и к людям добра. Что не забидит Станьку, которая сирота и деваться ей некуда. Что нонче же летом возвернуся я в родные Барсуки... и что не одна.

Муж?

Я сжала половинку монетки, которую ныне носила в мешочке, а мешочек – на веревочке. Веревочкой этой руку обкрутила да слово особое сказала, чтоб не развязалась она, не рассыпалась. Ведаю, что монетка заклятая, захочешь – не потеряешь, а все одно...

А в другом мешочке корень, теткой Алевтиной даденный.

И знаю, что поможет этот корень, надо лишь...

Кому?

Еське, который бабку провожать явился и пряников принес в промасленном кульке? Евстигнею? Он по-прежнему дичится. Лису? Глаза его сделались желты, и знаю я, чую, что треснуло кольцо заклатья. И надобно бы сказать о том, но молчу.

Не может такого быть, чтобы только я сие увидала. Вона, Архип Полуэктович тоже на Елисея поглядывает так, с хитрецей, а ничего не сказывает... так и мне не след.

Братец евонный, напротив, сделался мрачен и задумчив. Он ли?

Емелька тишайший?

Егор?

Лойко? Ильюшка Задуменный?

Кто приходил ко мне? Я ж помню разговор, каждое слово. И горечь. И обиду. И за себя, и за него, хотя, казалось, что нелюдя жалеть, а вот... Знаю, что из них кто-то, а кто...

Бабку провожала до самых ворот столичных, слезы держала, да только, как подвода скрылась за холмом ближайшим, разрыдалась. И Кирей, меня приобнявши, молвил так:

– Все переменится, Зослава. И надобно верить, что к лучшему...

Ох, где бы веры этой прибрать?

Второй день.

И терем мой опустевший.

Щучка сгинувшая. Куда и когда? Кто ж ведает?.. Просто вышла одного дня за ворота и не возвратилась. Еське я об том сказала, а он тихо выругнулся.

– Вот ведь... сколько волка ни корми, а...

Но знаю, что искал. Сама ему волосья рыжие из гребешка выбирала, сама приносила рубаху ношеную да простынку, на которой Щучка давече леживала. Только не справилось заклатье.

– Закрылась, дура стоеросовая! – Еська только сплюнул. – Ну и ладно... Я ее не обижал. Сама виновата.

И вновь с того грустно сделалось.

А на третий день терем мой вновь ожил. Сперва Кирей явился – с дарами и такой любезный-прелюбезный, что сразу я неладное заподозрила. Он мне шелками азарскими коридор выстилает, а я только и гадаю, чего ж этакого он удумал.

– Вот смотри, тебе зеленое к лицу. – Он накинул на меня шальку, из шелковой нити плетенную, да не просто – кружевом. – Настоящая княгиня.

А сам уже ларчик раскрывает, вытаскивает серьги тяжеленные бурштыновые.[3]

– Ты, – говорю, – не юли...

Сама ж шальку снимаю.

Тонюсенюкую.

Легонюкую.

А греет-то... Без магии не обошлось. И вижу серед нитей обыкновенных – особые, заклятья...

– Говори прямо...

Серьги и мерить не стала, как и браслеты с красными камнями. Кирей же вздохнул и почесал затылок.

– Ситуация, – сказал он, на стульчик усаживаясь. Ноги выпростал на половину комнаты. – Неоднозначная. Я бы сказал, парадоксальная.

– Чего? – Но тут вспомнила, как за слово энто ругана была не единожды наставницей, и поправилась: – Что?

– Парадоксальная, – повторил Кирей, будто со второго разу понятней станет. – Такая, что... люди не поймут. Про невесту моего родственничка ты знаешь, так?

Кивнула.

Как тут не узнаешь, если про эту невесту и тараканы по углам шепчутся, да ладно бы тараканы – но и боярыни наши, которые тараканов не в пример зловредней. И главное, шепчутся так громко, чтоб услышала я, до чего боярыня Любляна собой хороша.

И молода.

И родовита.

И вовсе кругом прекрасна, каковой мне, хоть ты семь шкур съми, в жизни не стать.

– Вот... – Кирей правый рог поскреб. А оный рожок у него кривоватенький, самую-самую малость, а все одно. – И раз уж такое дело... у Любляны брат ведь имеется, это ты тоже знаешь.

Кивнула.



Давеча с ним битый час рисунки рисовали, щит новый составляючи.

– А раз так, то... неприлично девку при живом-то старшем родиче замуж из царского терема отдавать. – Кирей поерзал. И на всяк случай шкатулку свою от меня отодвинул. – Да и Илья челобитные пишет, просит дозволения с сестрами свидеться, а лучше передать их под опеку ему...

И поднос убрал.

А чего? Я только булочку взять хотела. Мне с булочкой сердешные горести легче переживаются.

– И вот матушка решила... – Кирей замолчал и огляделся.

– Говори. – Чую, ничего хорошего с решения евонной матушки мне ждать не след.

– А драться не станешь?

– Не стану, – пообещала я и рученьки за спину спрятала.

– Хорошо... В общем, дело даже не в челобитных. Он о том еще в прошлом году писал, а теперь... и не в приличиях. Плевать ей, честно говоря, на приличия. Но девчонки эти странноватые. И надо бы их из дворца убрать.

Левый рог он тоже поскреб и пожаловался:

– По весне всегда чешутся... подрастают... Еще пара лет, и подпиливать придется.

Я покивала, мол, сочувствую.

– И вот... если их отпустить, то куда? У Ильи своего дома нет. Когда батюшку его обвинили в измене, то и имущества он лишился. С одной стороны, конечно, матушка может волей своей вернуть Илье дом, но там уж пару лет как пожар приключился...

Ох, мнится мне, что не сам собой приключился.

– Одни уголья и остались. – Кирей сел ровно. – А на тех угольях... я был там... еще лет сто, если не двести, жить нельзя. Не будет добра тем, кто поселится. Вот... Другое поместье дать? Не так их много, свободных, чтоб в столице... И ко всему, ей бы хотелось, чтобы ты с боярынями подружилась.

И вздохнул тяжело-претяжко.

Руками развел.

А я только рот открыла... Она сначала моего жениха этой самой Любляне отдала, а теперь желает, чтоб я задружилась?

– Я ей сразу сказал, что дружбы у вас точно не выйдет, – оправдываясь, произнес Кирей. И отодвинулся. Верно, хоть и обещалась я не биться, да глядела не по-доброму. – Но матушка... порой ее сложно переубедить... и завтра она их отпустит. Формально – передаст под опеку брату. До свадьбы, которая состоится в первый месяц осени.

Тихо стало.

Слышно, как гудит под потолком одинокая муха. И молчали мы, друг на дружку глядячи, думали... Об чем Кирей – не ведаю. А я все про свадьбу, которая...

Будет ли?

Первый месяц осени.

До него еще б дожить. Лето только-только началось.

– Зослава, – Кирей пальчиком ткнул меня в плечо, – ты живая?

– Живая, – вздохнула я.

– Согласная?

– А вам откажешь?

– Да как тебе сказать, в теории, конечно, можно, но... матушка...

Ага, которая царица, с ейными планами... супротив их идти, что граблями ветер чесать. Вроде бы и можно, а поди попробуй, прослывешь дурнем, ежели вовсе ветер грабли оные из рук не вывернет да по лбу не приложит.

Я рученькой и махнула.

Мол, пущай едут.

– А чего ты пришел, а не Ильюшка?

Уж кому бы за сестер просить, так ему. Кирей плечами пожал и ответил:

– Меня матушка попросила, а он... может, неудобно?

Неудобно на чужой лавке спать: все плечи смулишь.

Вот так и вышло, что через пару деньков гостей я встречала. Раньше? А не вышло раньше. Терем же к этакому визиту сготовить надобно. Там оконца помыть, стены поскресть, дорожки от пыли выбить да из зевов печных пепел повыгрести.

А заодно уж украсить что стены, что полы плетениями рисованными.

Ох, не прошла мимо меня наука Люцианы Береславовны, даже по нраву прилась, как распробовала. Вроде ж и силы не берет, да и вовсе немашечки магии в линиях черченных, а на многое они способны. И гостюшки мои меня в том лишь убедили.

Подкатил к воротам возок царский.

Коней тройка. Ногами тонкими перебирают, шеи гнут, красуются. На дуге у заводного бубенцы сладкоголосые звенят-перезваниваются. В гривах пристяжных ленты атласные. Сбруя позолочена.

Возок... ну возок и вовсе золотым мнится.

Задние колеса огромные. Передние махонькие. А меж ними желудем – сам возочек. Оконца круглые, за цветными стеклышками не видать, что внутри. На дверцах корона.

На крыше будто прыщ, из которого пук перьев золоченых торчит.

От такой красоты я и обмерла, дар речи утратимши.

Но Кирей меня локотком подпихнул. И, на мрачнющего Арея взгляд бросимши, приобнял. Тот от злости ажно зубами заскрежетал, с лица сбледнул крепко, но что тут сделаешь? Не евонная я невеста...

Он к возку шагнул и дверцу открыл. Отступил, позволяя холопу скамеечку-приступку поставить. Руку подал. Я и застыла, дышать позабывши, когда этой руки другая коснулась. Пальцы белехоньки, прозрачны почти. Ноготки жемчугами.

И жемчугами же рукавчик длинный расшит.

Выплыла боярыня Любляна Батош-Жиневская лебедушкой белой. Глазки потупила. Бледна. Бела... и болезна? А за нею сестрица выпорхнула. Этой-то подмога без нужды. Только шубку, горностаем отороченную, поправила и дом мой окинула взглядом презрительным.

– Вот, значит, где нам обретаться ныне судьба... – Блеснула в глазу слезинка, но не для меня сие, для Ильюшки, который стоял столпом соляным, на сестер глядячи.

От радости ль?

– Доброго дня, – девица чернявая ко мне повернулась, – от имени моей сестры я приветствую гостеприимную хозяйку...

– Зославу, – подсказал Кирей и внове по плечу меня погладил. А сам-то не на боярынь глядел, на Арея. Левым глазом.

Правым – на Ильюшку.

Этак и окосеть недолго... надобен он будет Велимире, мало что рогастый, так еще и окосевший?

– Зославу, – молвила девица, меня разглядывая.

А взгляд-то нехороший.

Глаза темны, но не разобрать, зеленые, аль серые, аль еще какие. Но главное, что от глазу подобного младенчики крикавицу хватают. Бывает, глянет кто, даже краешком самым, а после дитё кричит, заходится, и не спасти его ни сиськой, ни люлькой, ни даже маковым отваром, который детям давать – дело распоследнее. Бабка моя крикавицу лечить умела, да и не хитра наука – под столом дитяtko трижды прокатить.

Эта ж уставилась.

И видно... а все и видно в глазах ейных. Что, мол, боярыня она, да не из простых, с кровью царской благословенная, а я – холопка давешняя. И мне б кланяться.

Дорожку красную катить.

Молить о милости.

А я тут стою...

– Что ж, Зослава, – губы дрогнули, в улыбке складываясь, – мы с сестрицей с дороги притомились...

И вновь глядит.

А недовольная... с чего б? И куда им томиться, когда той дороги – от царских палат до терема моего – тихой ходьбы час. Они ж не ножками, на возку ехали.

Кирей рученьку сжал.

Боярынька вовсе перекривилась.

– Дозволено ли, – голос ее сделался сух и скрипуч, – будет нам войти и отдохнуть в доме твоём?

А сама на притолоку глядит, где я нонешней ночью узор малевала. Хороший такой узор из заветного альбома Люцианы Береславовны.

Ильюшка тоже к дому повернулся.

И к сестрице.

Открыл рот, желая сказать что-то. Кирей же плечико мое сдавил сильнее. Не молчи, Зослава. А я чего? Улыбнулась, как сумела.

– Будьте в доме моем гостями желанными...

Ох, полыхнули глаза боярыни гневом.

– Значит, приглашаешь войти?

– Приглашаю... войти...

– Меня и сестрицу мою?

– Тебя и сестрицу твою...

Она юбки-то подобрала и ко мне спиной повернулась. По ступеням не взошла – взлетела, дверью только хлопнула, ключницу мою, женщину степенную, Киреем мне в подмогу приведенную, напужавши.

– Простите мою сестру, – прошелестела Любляна голоском слабым. И на Ареевой руке повисла, белым-бела, глядишь на нее и знать не знаешь, проживет ли боярыня еще денечек.

Мнится, и денечек.

И другой.

И третий... и до осени дотянет, до самой свадьбы... И пусть говорят мне, что приневолили ее, да вижу я, как она на Арея глядит. От этого взгляда злость во мне появляется, и такая, что просто сил никаких нету терпеть.

– Спокойно, Зось. – Кирей к самому уху наклонился. – Улыбайся шире... Чем оно поганей, тем улыбка шире.

– А щеки не треснут? – тихо же спросила я.

Но куда деваться? В дом пошла. К гостям дорогим. За стол звать, беседу беседовать. Ну, за стол-то я усадила, и мнится, что стол этот был мало царского хуже.

Были тут и гуси с капустой квашеной печеные.

И вепрячье колено. И караси жареные, и белорыбица рассыпчатая с подливой клюквенной. И пироги всяко-разные. И даже цельный порось молочный с яблоком в пасти.

Клецки в молоке.

Сливки коровьи с сахаром топленые.

Ягоды вываренные, в тонюсенькие лепешки уложенные да скатанные трубочками...

Иного я сама не едала. Да только за столом этим кусок в горло не лез.

Сидят боярыни, старшая подушками обложена, потому как зело слабая. Младшая пряменька, по правую руку сестрицы устроилась. Эта ест так, будто в тереме царском впроголодь их держали, а старшей знай кусочки махонькие подкладывает.

Любляна то клюковку в рот положит и скривится.

То от крыла лебязьего отщипнет и вздохнет тяжко-претяжко.

То лизнет шляпку груздя соленого и вовсе слезу пустит, будто бы жаль премного ей этого груздя... А младшая шляпку с вилки снимет и в рот сунет, куриную ляжку закусывая. И кусок свинины положит. И репы печеной с пряными травами. И горку из яиц перепелиных копченых. И жует, главное, сосредоченно, будто не было дела важнее.

– Растет она. – Любляна платочком слезинку поймала. – И нервы... С нервов Маленка ест, как не в себя... после мается...

Арей кивнул:

– А у меня наоборот. Надо бы есть, но не могу. Чуть поем, и живот крутит.

– Льняное семя пить надобно. – Мне это молчание поперек горла было, на похоронах и тех веселей. – А еще я отвар сделаю...

– Царские целители уже делали...

– Я не царского, но от глистов. – И Маленкин взгляд недобрый выдержала. Не младенец, чтоб криком зайтись.

– С чего ты, девка, решила, будто у моей сестрицы глисты? – У Маленки ажно кусок хлеба изо рта вывалился.

– И не только у нее. Это ж признак первейший, когда один ест и наестся не способен, значит, внутри у него черви сидят, которые на этой еде жиреют. А если червяков много плодится, то набиваются они в живот, и еда в него уже не лезет.

– Ужас... – Любляна глазки прикрыла.

– Не слушай эту дуру. – Маленка сестрицу по руке погладила и к Арю повернулась:  
– Разве ты не видишь, что эти разговоры не для стола? Она и так ничего не ест...

– Может, – Арей криво усмехнулся, – и вправду стоит отвару какого выпить?

Любляна всхлипнула, и по щеке ее скользнула хрустальная слеза. Только, может, и черства у меня душенька, а не поверила я оной слезинке. Помнится, сказывала как-то тетка Алевтина, конечно, не мне, но бабке моей, про то, как ее в Конюхи позвали к женщине одной, которая все помирала и помирала. Мол, и есть ничего не ест, и пить не пьет, росинкой маковой за целый день живая, и не понять, в чем душенька держится. И что мучают ее боли страшные, нутряные, цельными днями только лежит и стогнет жалостливо.

Тетка-то Алевтина поехала.

Не может отказать она человеку, когда оный головой о порожек бьет, умоляючи. Собралась. Травки свои прихватила. Оно-то, может, смерть и незваная гостьюшка в доме, да только порой долгожданная. Потому как коль и вправду хвороба нутряная, канцером в Академии именуемая, приключилась, то спасения от нее нетушки, одно в силе Алевтининой – помочь по-своему, от боли и мук избавивши. Но не о том же ж... Приехала она и глядеть, что женщина та вроде б и лицом бела, болезнь, да только телом уж обильно зело. С голоду так не опухнешь.

Да и жаловаться жалуется голоском слабеньким, а зятя своего шпынять – так сразу голос и прорезается. А после спохватится и стонет, стонет, ажно заходится. Тетка-то Алевтина сразу скумекала, что дело-то непростое. Велела она всем уйти, мол, вселился в болезную дух зловерный и тетка Алевтина будет его выманывать и караулить. И главное, что невозможно никому, кроме болезной и самой Алевтины, в доме быть, потому как уж больно хитер дух. Выскочит из болезной и кинется в кого другого. Выставила, значит, что мужичка измученного, что жену евонную, что деток малых. А сама села с болезной духа караулить. Та-то глазоньки прикрыла, рученьки на грудях сложила и охает, мол, тяжко. Тетка слухала-слухала да и придремала будто бы. Тогда-то болезная и перестала помирать.

Один глаз открыла.

Другой.

Глядит, что спит знахарка приглашенная, и сама-то с полатей сползла да к печи,

где щи вчерашние остались. Встала и ложкой наяривает, ажно похрюкивая, да колбаской закусывает. За колбасу эту, сгинувшую из погреба, кот был битый еще.

Ну а как тетка-то за руку болезную, которая не болезная вовсе, схватила, так и стала та плакаться, что, мол, смертушку свою чует, вот и решила в последний раз щец откусать. Ага... тетка-то ей разом объяснила, кто такова. И что не лечить прибыла, лечить-то она не обученная, но страдания облегчить.

А ежели не покается обманщица, то и облегчит.

Не ей, вестимо, родным ейным, которые вокруг болезной мало что хороводы не водили.

Там-то все просто... Сперва взаправду приболела, спину скрутило крепко. А после отошла, да понравилось ей болеть. Лежишь на печи, пока все по хозяйству колотятся... Красотень.

У боярыни из всех хлопот хозяйских – жемчугам пересчет весть да ноготки тряпочкой выглаживать, чтоб ровны были да хороши.

– Мне жаль, дорогая сестрица, – Маленка губы поджала и на меня зыркнула, – что тебе приходится выносить все это...

Любляна всхлипнула.

И вновь платочек к глазу прижала. К левому. А правым на меня глядит, и глаз этот что из стекла сделанный, не живой. И я гляжу, гляжу... а ничегошеньки выгладеть не могу. Уж и так, и этак...

Посидели мы за столом.

А после гостыюшек в покои их я проводила.

Хороши покои.

Ковров в них привезли шелковых, и полы укрыли, и стены, вроде как для теплоты, а что уж там за коврами этими, то... Да, может, оно и нехорошо, но вот не было у меня им веры. И гляжу на сестриц, ажно побелели обе. Старшая пальчики к вискам прижала, глазоньки закатаила, того и гляди сомлеет. Младшая хлопочет да на меня позыркивает.

Она-то и не выдержала.

– Что за дом этот? И комнаты... никак самые худшие выбрали. Конечно, кому мы, сироты горькие, нужны? А ты, жених, скажи, чтоб в другие переселили...

– А чем эти нехороши? – подал голос Илья, порог переступивши.

Значит ли, что не он это? Если сумел? Или... В начертательной магии собственно магии капля, оттого и ненадежной она считается. Да и не полный узор я рисовала, а так... набросок махонький...

– Душно здесь! – Маленка ноженькой топнула.

– Окошко открой.

– Тогда холодно будет!

– Шубу вздень.

– Сквозняки...

– Перестань, – Илья к сестрице подошел, – раньше ты не была такой капризной.

– Раньше и ты не был таким равнодушным.

А у самой губы-то дрожат, того и гляди расплечется. Но нет, поджала, закусила едва ли не до крови и к сестрице своей болезной кинулась, обняла за плечи, зашептала, но громко так, чтоб слышали все:

– Ничего, дорогая... Вот посмотришь, все еще переменится. Потерпеть надобно... самую малость потерпеть.

Вот с того дня они в моем тереме и терпели, девок дворовых капризами изводя. То, волосы расчесывая, дернут гребешком. То летник мятый поднесут... иль не мятый, а иного цвету, чем боярыня просила. И все-то им неладно было. Вода для умывания холодна, для питья – горяча. Мед несладок, яблоки кислы, а еда и вовсе несъедобна. И со мной... В первый-то день еще держались, а после Маленка в глаза заявила, что, дескать, сама я холопка, а если и не холопка, все одно званья низкого, недостойная и лицезреть боярынь, не то что за столом одним с ними сиживать и разговорами глупыми докучать.

А я что?

Хотела ответить, да стерпела.

Не из-за страху перед матушкой-царицей, а потому как Кирей просил. И Ильюшка – хоть он-то просить не приучен – явился в первый же день, встал, глядит так... А глаза больные-пребольные. Да и не утерпела я.

– Что ж ты, – говорю, – добрый молодец и закручинился?

А самой не то смеяться охота, хохотать во все горло, не то слезами дурными зайтись.

– Неужто беда приключилась какая?

– Приключилась, – молвил Ильюшка в ответ и щеку потер. – Ты сама эту беду видывала.

– А мне мнилось, что не беда это, а сестрицы твои родные, которых тебе возвернули.

Он же ж тяжко вздохнул. Огляделся. И спросил:

– Верно, что ты заглянуть в человека способна? В прошлое его? Я... Не всегда и все сказать разрешено... а коль увидишь, то вины в том, в кого глядишься, навроде и нету.



– Так ты...

Он голову вздернул, что жеребчик, который того и гляди на дыбки подымет, и сказал:

– Гляди, Зослава...

## ГЛАВА 2

### О кручинах молодца доброго

Глянула я. Чего ж не глянуть, когда человек сам того просит? Я-то к тайнам чужим попривыкла, а дар тренировать надобно, так мне все говорят. Только как его тренировать? На ком?

На Ильюшке вон.

Сел напротив меня. И вперился взглядом. Глаза пучит, разве что не трескается от натуги, будто бы с того память его наружу полезет.

– Погодь. – Я рученькой махнула. – Ты сперва скажи... ты ж сам писал, чтоб их тебе отдали.

– Писал, – кивнул Илья.

– А теперь будто и не радый?

– Твоя правда, не радый.

– Почему?

Тяжко мне с ними, с боярами. Вот у простых людей и в жизни просто. А тут напридумывают себе – в три дня не разгребешься.

– Потому что не знаю, что мне с ними делать. Я давно не знаю, что мне делать... – Илья потер глаза, покрасневшие, будто пропыленные. – Мой отец... он был младшим, понимаешь? Есть царь... я его как родню воспринять не способен. Есть дядька Миша, который в Академии ректором целым. А есть мой отец, вроде и маг, а не маг... и ни туда, ни сюда... К государевой службе он не пригодный. Пытался, а ничего не вышло. Нет способностей. Полководец? Тоже никакой. Куда ни сунься, а все одно без таланта... как назло.

Память-ледок?

Не ледок – лед старый, сизоватый, огрубевший. Такой и по весне до последнего держится, исходит слезой водянистой, грязной, а все одно не спешит отступить.

Опасный.

В нем, износившемся за зиму, трещины рождаются внутри. С тихим вздохом, со скрипом, человеческому уху не слышным. Только и успеешь, что подивиться, а он уже расползается.

Лед-ледок.

Холод ледника, в котором девка дворовая лежит, ногу подогнувши. Задрался подол, и нога эта, белесая, в синих жилочках, видна.

А еще коса растрепанная.

– Вторая уже, – голос отца доносится словно сквозь вату, Илья не способен отвести взгляда от ноги.

Или косы?

Или лица девичьего, ужасом искаженного? Он ведь знает ее. Авдотья... Хохотушка... Рыжевата, конопата... всегда с улыбкой, всегда готова угодить, не потому как он боярин, а просто.

– Споткнулась, наверное. – Отец повернулся спиной. – Вели, чтоб убрали. И сегодня я жду тебя, Илья. Есть к тебе серьезный разговор.

Авдотью выносили хмурые мужики. При доме они появились недавно и были мрачны, неразговорчивы. Девки, вот те шептались, хватались за простенькие амулетики.

– Не ходи, боярин. – Это Малушка, Авдотьяна подруженька задушевная.

Одногодки.

Из одного села в дом взяты были. Матушке служили, да как захворала матушка, к ней другую девку поставили, белую и смурную, но отец уверял, что знахарка она, ученая.

– Неладно в доме. – Малушка глаза отводит, а те красны. – Не ходи к нему. Боярыня-матушка ушла и не вернулась. Сестрицы твои... это они...

– Что ты говоришь?

Малушка на конюшне его выловила. Конюшни отцовы Илья всегда любил. Пахло здесь хорошо. Да и тихо было. Кони всхрапывают, голуби курлычут. На сердце покой. Вот и пришел успокоиться.

– То и говорю. – Малушка носом красным шмыгнула. – Что неспроста Авдотья сгнула. Они это... Сначала он подвалы закрыл. С чего? Всегда мы убирались, не самому же рученьки марать... Потом в доме стало беспокойно... Хозяин больше молоко не берет, хотя ж самое свежее оставляем. – Она всхлипнула и не удержалась. – Авдя сказывала, что боярыни переменялись... что как вниз сходили... силу тянут... она им волосы чешет и слабнет, слабнет... перед глазами мушки скачут... а они говорят...

– Может, заболела твоя Авдотья.

Разговор был неприятен.

– Всегда здоровая была.

– Прекрати.

Следовало бы прикрикнуть на девку, чтоб перестала языком попусту молоть. А он слушал.

– Здоровая, мне ль не знать. – Малушка всхлипнула тоненько. – Я ж при ней была... волосья чесала. Красивые были. Мягкие да гладкие. А волосья у бабы – первое дело. Когда волос тусклый, то хворь внутрях сидит. У нее ж гладенький...

Зашелестело что-то, и стихли голуби, а старый отцов жеребец, которого в доме держали из памяти о славных его конских годах, всхрапнул, вскинулся, застучал копытами по настилу.

И холодком потянуло.

Жутью.

– Она мне жаловалась, что батюшка ваш переменялся. Вы-то за книгами его не видите, а он иным стал. Молчит...

Отец никогда особой разговорчивостью не отличался. А что изменился, так все меняются. Отец же с братьями рассорился, хотя и не говорил о том Илье, да Ильюшка не слеп и не глух, знает, что в мире делается. Не по нраву отцу царева женитьба, и жена его, и то, что в тереме творится.

– ...А глянет, так прямо душа наизнанку. – Малушка плакала, уже не чинясь, и слезы по лицу растирала с соплями вместе. – Ваша матушка сказывала, что про нее вовсе забыл, а прежде любил крепко... теперь и не кажется, а глянет – и перекривится весь...

Бывает.

Да, отец матушку любил, пусть и не ровня они, пусть и глуповата, всполошна, склонна к пустым истерикам, но любил ведь.

– Кошка наша сгнула, и куры черные повывелись все. А на птичьем дворе их не одна дюжина была. Повадился шашок[4] таскать... Только никакой не шашок это. Шашку что белая, что рябая, что черная – едино, этот же только черных и перебирал. Козла батюшка ваш прикупил. А после тот козел и сгинул.

Она лепетала всякую чушь, и от этого лепета начинала болеть голова.

– Матушку вашу вниз повел. И она пошла. Своими ногами пошла. Была здорова и весела. Волосы я ей заплела на две косы, на особую манеру. Ленты выбрали вместе. Зеленые. В цвет летника и каменьев, которые в заушницах. А вниз пошла – и не вернулась. Меня к ней не пустили, будто бы я за боярыней плохо ходить бы стала. Я ее любила, как мамку родную. Она ж ласковая, не злобливая. А когда и

прикрикнет, так после повинится. И летники свои, которые поплоче, отдавала... и еще ленты. А они говорят, заболела... Вы ее не видели, верно?

И глаза строгие, с упреком.

Оттого, что упрек этот в самое сердце попал, не по себе становится. А ведь и вправду, не видел он матушку. Сначала отец отослал в загородное поместье, проверять счетные книги. И ведь как чуял – отыскал Ильюшка недостачу, да солидную. Потом за конями отправил на Вяжницкую ярмарку, тоже неближний путь, но и то верно, что там жеребчики самые лучшие. А потом...

– Что, вспоминаете, отчего вы к матушке не заглянули ни разочку? – Малушка вытерла слезы рукавом. – А и не только вы! Про нее туточки будто запомнили все. Я сама, бывало, весь день кручусь-верчусь, а попадет в руки вещица ее, так и вспомню, что есть у меня боярыня. Болеет... Остальных поспрошайте.

– Поспрошаю... тьфу на тебя, расспрошу. – Илья потер лоб.

А ведь и вправду.

Третий день как он вернулся, про матушку же... спрашивал, конечно, спрашивал. Когда приехал. И отец что-то такое говорил... Про болезнь говорил? Или про то, что беспокоить ее не надо? Или... она спала? Утомилась? Не желала видеть?

Ведь собирался же идти.

Гостинцев привез.

И еще книжицу, из тех, пустых, которые про великую любовь сказывают. Матушка до чужих любовей очень охоча была... А не понес. Куда подевались?

– Вот, – Малушка пригладила встрепанные волосья, – и сестрицы ваши про нее забыли. Но сами переменялись... Из девок силы тянут, улыбаются, в глаза глядят и тянут... Меня к ним пошлют. Сначала Кажинка ходила, которую ваша матушка ключницей ставила, потом Агнешка. А теперь и мой черед. Страшно-то как... – Она часто-часто заморгала, силясь управиться со слезами. – Не ходите вниз, боярин. Ваша матушка, когда моя захворала, дала денюжку на лекаря и еще после пожаловала. И сестрице моей приданое справила... три отреза. Она добрая была... и добром за добро... Мне жизни не будет, всех он извел, так хоть вы... уходите. Скажите, что дело какое есть. Вы же ж магик, а не просто так...

Ильюшка кивнул.

Магик.

И в Академию все ж поступит, хотя батюшка о том слышать не желает, только и твердит, что дар слабый, что нечего время за книгами терять.

Потом.

Сейчас надобно разобраться, что в доме происходит.

Куры. Козлы.

Матушка больная.

Вот с матушки он и начнет.

– Все будет хорошо, – пообещал Илья и в лоб Малушку поцеловал. А после уж подумал, что так только покойников целуют. И повторил, отгоняя недоброе: – Все будет хорошо...

Память-лед трещит, расплзается, и в трещины сочатся запахи. Сытный дух печева, пирогов, которые расчиняли спозаранку, а пекли ближе к полудню, что с дичиной, что с рыбой, с грибами тоже. Или с творогом, вишней.

Большими и маленькими.

Темными. Или только малость самую подрумяненными. Украшали косицами плетеными, бисеринами из сахару да клюквой вяленой. Порой целые узоры вывязывали.

Щука на огромном блюде развалилась, раззявила зубастую пасть, в которую вставили яблоко моченое. Щучьи бока сметаной мазаны, а под брюхом греча рассыпана.

Отец почти ничего не ест. Ковыряет в тарелке Любляна, которая ныне бледна и сторонится окна открытого. В конце концов не выдерживает:

– Закройте уже! Сквозит... Так и заболеть недолго. – Ее личико недовольно кривится, а меж бровок складка появляется. – Нормально закройте, ставнями!

Младшая сестрица ест, не глядя по сторонам, хватая кусок за куском и глотает, почти не пережевывая. И это на нее не похоже. Уж она-то была разборчива в еде, порой и чрезмерно. А от рыбы всегда носик свой прехорошенький воротила, мол, тиной ей пахнет...

Ест.

И глотает.

– Набегалась за день. – Она заметила его взгляд и улыбнулась так кривоватенько. – Вся в хлопотах...

– Какие у тебя хлопоты? – кривится Любляна.

Они друг дружку не то чтоб вовсе не любили. Любили. Сестры как-никак, а вот... была ревность... и капля зависти. Были ленты краденые и слезы литые, когда мнилось, что кого-то обижают. Но все это было тихо, по-родственному.

А сейчас беспокойно за столом.

И мыши шубуршатся.

– А куда наша кошка подевалась? – поинтересовался Илья, подцепляя на серебряную вилку грибочек.

И заметил, что приборы-то у батюшки простые, из железа деланные, пусть и

украшены хитро, а куда серебро подевалось? Он свою вилку берег. При себе носил. Сказывал, что дарена она ему отцом была, на счастье. Потерял?

Тогда весь терем до досочки перебрали бы.

– Кошка? – Отец хмурится. – Понятия не имею.

– Сбежала, наверное, – дернула плечом Маленка.

И Любляна добавила:

– Стара уж была. Время ей пришло подышать, вот и ушла из дому. С кошками оно всегда так.

– А с курами что?

– С курами? – Светлые бровки вверх взметнулись. И на лице такое недоумение искреннее, что невольно стыд берет за глупые вопросы свои. – А что с курами? Нестись перестали?

– Все черные куда-то делись.

– Да? – И ротик приоткрылся.

Хороша Любляна. В матушку пошла хрупкой воздушной красотой. И недаром женихов она с малых лет перебирает...

– Что с матушкой? – Он отложил вилку, понимая, что не полезет кусок в рот.

– Так болеет, – равнодушно ответила Маленка. – Давно болеет...

– Чем?

– Я откуда знаю? Болезнью.

Отец смотрит пристально и губу жует. И глаза... чужие глаза. Незнакомые.

– Я навестить ее хотел бы..

– Навестишь.

– Сегодня.

– Конечно, сегодня. – И тише добавил: – Чего тянуть-то?

Память.

Не только запахи ее рушат, но и звуки. Тихий скрип половиц, будто идет кто-то. Вздох за спиной, такой муки преисполненный, что поневоле становится страшно. Обмирает сердце. И вновь колотится о ребра. Чего бояться?

Вот он, дом родной.

Здесь Илья на свет появился, здесь вырос. Каждый закоулок ему знаком.

И что не по себе?.. А просто окна позакрывали. Дует им. Или от солнечного света сторонятся? Нехорошая мыслишка. Подлая. Из дому уйти, как Малушка советовала. Да прямо в царский терем. Сказать... пусть разбираются.

Пусть.

– От солнца мигрени у них. – Отец нес в руке железную рогатину с парой восковых свечей. Света мало, а душно. Так душно, что каждый вдох что через меховую рогожу. – Боюсь, как бы следом за матушкой твоей не расхворались. Говорил я ей, нечего привечать всяких... А тут то нищие, то убогие... то норманны... Им в нашем дворе делать нечего. Вот думаю, может, отравили?

И сказано это было... равнодушно?

Раньше, случись матушке прихворнуть, отец от ее постели не отходил. Всех целителей, какие только в городе были, созывал.

Вниз ведет.

– Что...

– Там она, в лаборатории. – Отец остановился, Илью вперед пропуская. Боится, что сбежит? – И не смотри на меня так. Зараза это... Сначала-то я целителей приглашал, а что один, что другой, что третий руками разводят. Нет на ней ни проклятья, ни хворей не видать, а она все равно тает день ото дня... И давно бы отошла... Свет дневной ей ярк, а каждый звук муку доставляет. Ты вот на сестер ныне криво смотрел. А они каждый день жизненной силой своей с матушкой делятся, да...

– А я?

Если все и вправду так, что ж молчали?

Что таились?

– А ты... ты мужчина, Илья.

И это прозвучало почти обвинением.

А лестница меж тем закончилась, уперлась в дверь дубовую, коваными полосами перекрещенную. Висит та дверь на петлях массивных. И замком заперта таким, который с ходу не откроешь.

– Ты ее под замком держишь?!

– погоди. Сейчас сам увидишь... – Отец протянул ключ. – Я был бы рад выпустить, да...

Память.

Лед.

И острый смрад гнилого тела. Темень, которую едва-едва разгоняют свечи. Существо, запертое в клетке. Прутья толсты, но существо трясет их с нечеловеческой силой, и воет, и скулит. А после замирает вдруг и ласково, матушкиным голосом просит:

– Спаси меня, Ильюшечка... спаси...

И лицо искаженное прижимается к решетке, прутья в самые щеки впиваются. А глаза – не глаза, провалы черным-черны...

– Спаси, Ильюшечка...

Память.

Запах дыма. Кисти в склянке. Резец. И узкий нож с кривым клинком, который вспарывает кожу на запястье. Кровь льется, и существо – думать о ней как о матери у Ильи не выходит – замирает. Оно то вздыхает, то приплясывает, то пускает слюни.

– Это не она. – Отец спокоен. – Это уже не она... Но мы с тобой можем попробовать одно средство...

– Хорошо.

– Даже не выслушаешь, что за средство?

– Я согласен. Когда?

– Завтра.

Отец потер руки.

– Почему только завтра?

– Луна войдет в полную силу. Ты удачно вернулся, Ильюша. И если у нас все получится...

Тварь захохотала.

И снова память. На сей раз хрупкая, как древний пергамент. С легким ароматом пыли и душистых трав, которые клали под матрац, чтобы спалось легче. Но не спалось.

Никак.

И Илья, проворочавшись до рассвета, встал.

Он должен спуститься сам. Он должен увидеть.



Проверить.

Лестница не исчезла. И света одинокой свечи хватило, чтобы разогнать мрак. Дверь. Ключ... он забыл про ключ. И что теперь? Возвращаться? Будить отца?

Дверь открылась сама.

– Проходи, – раздался тихий голос. – Не стесняйся. Чувствуй себя как дома.

Тварь больше не бесновалась, да и из клетки она вышла, села в пентаграмму, ноги скрестив, и теперь задумчиво скребла длинными когтями коленку.

– Я надеялся, что ты придешь. – Она смотрела на Илью снизу вверх, и во взгляде ее не было больше безумия, лишь интерес.

– Я пришел.

Первой мыслью было – бежать.

Немедля.

Будить отца. Сказать, что выбралась она, что...

– Я тебя не трону. – Тварь махнула рукой. – Присядь. Поговорим, пока этот горе-маг не явился... Занудный он у тебя. Казалось бы, получил в руки источник древней мудрости, так сиди и радуйся, а он только и умеет, что бубнеть да вздыхать. И все мало, мало... но тут понимаю. Сам был таким.

– Кто ты?

– Кто я? Интересный вопрос, правда? – Голова матери перекадилась с плеча на плечо. Рот приоткрылся, и из него выглянул кончик языка. – Тело ты узнал... Кстати, не слишком-то приятное вместилище. Женщин я в принципе не люблю. Вечно у них то одно, то другое... У этой вот печень увеличена. Сердце пошаливает. Да... и с желудком беда. Еще полгодика, и целители будут бессильны.

– Кто ты? – повторил Илья вопрос.

– Я не она, это ты правильно думаешь. Я – дух, который тихо-мирно дремал себе, пока одной дуре не вздумалось искать справедливости. Запомни, Ильюшка, самые большие глупости в этом мире делаются ради абстракции. Любовь. Честь. Справедливость опять же... Выпустила, да... А изгнать силенок не хватило. Этот же возомнил себя некромантом. Будто для того, чтобы им стать, хватит одной книжицы. Нет, книжица, не спорю, прелестная, и в мои темные времена за такую душу отдавали, но вот... голова на плечах быть должна... должна, да...

Существо тяжело вздохнуло.

– Он призвал меня. И заключил в это тело. А чего хочет, и сам не знает.

– Он?

– Ильюшка, – тварь погрозила пальцем, – не притворяйся большим дураком, чем ты

есть на самом деле. Ты ведь все прекрасно понял. Кстати, девушку жаль, но зря она языком молола. Могла бы еще и пожить... недельку-другую. Что ты смотришь так, с укоризной? Мне тоже питаться надо. Ты же не думаешь о том, что чувствовала свинья, которую ты давече вкушать изволил?

Тварь засмеялась.

А смех у нее неприятный, дребезжащий и нисколько не похож на матушкин.

– Что здесь происходит?

– Интересный вопрос, – ответила она. – Поверь, я и сам не отказался бы понять... Происходит то, что в руки твоему папочке попала одна вещь, которую защищали от многого, но, увы, защиты от дураков так и не придумали. Он прочел. Кое-что выписал. И возомнил себя великим магом. Задумал ни много ни мало – составить заклинание, которое бы духов подчиняло, таких вот...

Он развел руки и хлопнул себя по щекам, сильно хлопнул, так, что на щеках остались красные следы.

– Нет бы чем попроще заняться... Но ему же славы охота, желательно мировой... Да ты присядь, Ильюшка, присядь... Спит твой папаша. И видится ему во сне признание... А что до работы его, то теория теорией... теоретик он знатный, тебе ли не знать. Когда ж до практики дело дошло, то и выяснилось, что по ту сторону не только духи водятся.

Глаза матери налились слезами.

– Ишь, мечется... душонка махонькая, что воробей, а не успокоится никак.

– Ты...

– Не я. Он меня призвал. И в это тело заключил. Как я понял, твоя матушка слишком много вопросов задавать стала. А это уже пришлось не по нраву твоему батюшке. Вот он и позвал ее... на опыт поглядеть.

Смех был хриплым, больным. А изо рта матушки хлынула черная кровь, которую дух отер рукавом хламиды.

– Повелитель... чтоб ему...

– Зачем сегодня он тогда...

– А что ему тебе, любопытному, ответить было? Что он матушку одержимой сделал? Или что сестрицы твои ныне уже не люди вовсе? Не пожалел дочек родных...

– Кто они?

– В вашем языке такого слова нет. Они не отсюда – из древней страны, которая давным-давно сгинула... таа-кхеми. Шакалы пустыни. Твари, в сущности, не самые сильные. Ты бы с ними справился. Но хитры. И всегда парой работают. Одна жертву морочит, другая силу тянет. Только и горазды, что жрать в три горла, а пользы от них... В пустыне могут дорогу закружить, особенно если случится буре быть. Там, в песках, и караванам пропасть случалось. А здесь... вот уж не знаю, куда и зачем

их... он думает, подчинил.

– А на самом деле?

Илья старался говорить спокойно, хотя и подозревал, что тварь не слова слушает, а его, Ильи, сердце то обмирало, то пускалось галопом. И во рту пересохло. И душа свернулась комком дрожащим.

– А на самом деле они позволяют думать, что подчинил... хитрые, говорю же. Я вот в подвале заперт словом хозяйским. Довольствуюсь крохами. Эти же... тьфу...

– Зачем ты мне все это рассказываешь?

Бежать.

Подняться. Тварь не станет удерживать. Кинет в спину пару слов язвительных, но задерживать не станет. Во двор. На конюшню. Жеребца заседлать или... на незаседланном можно. А то и вовсе пешком. Чай, столица...

Кричать.

Поднимать всех, кто есть.

Есть же магики. И знахари со знахарками. И ученые. И книги, пусть частью запертые, да неужто не сыщется в них заклятья какого, чтобы унять проклятого духа?

– Бежать думаешь? – поинтересовался тот. – Хорошее дело. У тебя, быть может, и получилось бы. Но вот... приведешь помощь? Спасать станешь? Не спасешь. Мне ей голову свернуть – одно мгновенье...

И шея изогнулась, захрустела.

– Прекрати!

– А девок... их и обнюхают если с головы до пят, ничего не увидят. Твари-то древние. Прятаться привыкшие. Их и дети бога не всегда увидеть способны были.

– Чего ты хочешь?

– Вот, другой разговор. – Он ослабил хватку, и матушка застонала. – А хочу я, Ильюша, того же, что и ты. Прекратить это безобразие. Уж извини, не люблю дураков, особенно самоуверенных. Очень жить мешают. Вот взять твоего папочку... Чего ему не хватало? Богат. Родовит. При жене любимой. Детки опять же... Нет, восхотелось курице орлом стать. Тьфу. – Слюна с кровью плюхнулась на границу круга. – И призвал меня... А дальше что делать – сам не знает. Изгнать не способен. Отпустить – не желает. Вот и маемся друг с другом. Там его книга, – он указал на стол. – В верхнем ящичке. От меня он защиту поставил. А вот о тебе не думал... для тебя у него иной план. Ты для него не родной сынок, кровь и надежда, а подходящее вместилище для еще одной древней твари. Не веришь?

Сложно не поверить, когда все... так.

Странно?

– Вон, видишь, на полочке... Да, тот сосуд с крышкой в виде львиной головы. Там заперт дух существа, которому... скажем так, в этом мире будут не рады.

Глиняный сосуд.

Старинный.

Древний даже. И древностью от него веет, как и силой. Рука сама потянулась было, но Илья не позволил себе коснуться. Одернул. Напомнил, что к иным вещам только в перчатке заговоренной прикасаться и можно. А лучше и вовсе не прикасаться.

– Молодец. – Тварь наблюдала за ним, не скрывая своего жадного интереса. – А вот твой папаша бестолочь, уж прости за откровенность, вечно лапает, что не нужно. Ты книгу возьми. Открой. Там есть заклятие... несложное. Обряд... разделить неразделимое... ты сумеешь.

Память.

И тьма, которая казалась густой, расползлась рваными лапами тумана, разлетелась клочьями. И вот уже он, Илья, листает ломкие страницы, удивляясь тому, сколь всего таит в себе невзрачная серая книжца. Она сама сокровище, и неудивительно, что отец не спешит этим сокровищем делиться.

Нет.

Илья возьмет книжцу. Ее нельзя оставлять здесь. Дух прав. Отец слишком безответственен, чтобы позволять ему играть с подобным. А вот сам Илья – другое дело.

Он исследует каждую страницу.

Каждое заклятье.

Обдумает.

Опробует? Быть может, некоторые... самые безобидные...

И смех твари отрезвляет.

– Что, от свиньи гусь не родится? – спросила она. – Ты учти, времени у нас не осталось. Будешь и дальше восхищаться или опробуешь кое-что? Сам смотри, матушка ведь твоя... Мне в этом теле, конечно, не слишком уютно, но ей, поверь, еще хуже.

Обряд.

Мел, который крошится.

И простенький рисунок, что выглядит недостаточно совершенным, хотя тварь и уверяет, будто нет нужды в совершенстве. Главное – основные узлы для привязки силы наметить.

Нож.

Жертвенная кровь. Собственная, Ильи, кровь, которая льется в чашу. И тварь замирает... В книге сказано, что кровь должна быть жертвенной. Неужели он это понял неверно?

– Обычно, – тварь вскинула взгляд, – под жертвенной кровью иное понимают. Твой папаша петухов безвинных резал...

– Мало этого? – Илья перехватил запястье платком.

И кольнуло, что матушка его вышивала.

– Да нет, сам факт жертвы важен... говори. – Тварь закрыла глаза. – Если бы ты знал, как мне все здесь... надоело.

Древнее заклятье. Ни слова не понятно, но меж тем Илья внутренним чутьем понимает, что говорит верно. Да и как их иначе произнести-то можно? Не заклятье – песня.

Вязь слов.

И силы, которая поднимается от пола... на крови.

– Что ты делаешь? – Любляна замирает на пороге. Простоволоса, боса, в белой рубашке. И вихрь силы накрывает ее.

– Что ты... – Маленка воет, падая на четвереньки, изгибаясь. – Что ты...

– Цыц, твари!

Мать изогнулась.

И упала.

Тело ее, будто объятые призрачным пламенем, сотрясали судороги.

– Останови! – Обе сестры, точнее, уже не они – в фигурах их не осталось ничего человеческого – скребутся, не способные пересечь порог. – Останови это!

Илья и рад был бы, но заклятье разворачивалось и не в силах человеческих было вернуть его.

Он только и мог, что смотреть.

Вот мать замерла.

И сестры, упав на пол, заколотились... Маленка билась затылком о пол, и под головой ее расплзалась лужа крови. Любляна вцепилась пальцами в лицо и выла, выла...

А потом стало темно.

И темнота длилась...

Прерывалась скрипом двери.

Звуками шагов.

Холодной ладонью на голове.

– Отойдет ли? – В этом голосе слышалась забота. И он приносил спасительную прохладу.

– Должен. Молодой еще. Повезло... свою кровь...

Кровью в темноте пахло, терпко и сладко, и запах этот вызывал странное желание в него завернуться, словно в пушистую старую шаль.

Кровью и поили.

С ложечки.

Не человеческой, само собой, а бычьей.

– А что девчонки? С ними... как?

– Кто ж знает, матушка. – Второй голос сух и неприятен, колюч. – Магии в них нет. И вообще... А что норов скверный, так у кого из дочек боярских он сахар?

– Ты мне скажи лучше, что с ними делать?

Тишина – звонкая, что зимний лед. И длится она долго, Илья почти успеваешь очнуться, прикоснуться к этой самой благословенной тишине, когда скрипучий голос вновь ее нарушает.

– Вы знаете, что делать.

– Дети же горькие...

– Может, еще да... А может, уже нет. Божиня не осудит...

– А люди?

– Вам ли людей страшиться? Поймите, оставите их, и что потом? Мы не знаем, удалось ли мальчишке полностью изгнать тварей. А если нет? Если они затаятся? На год? На два? А потом?

Вздых.

И снова тишина. Темнота отступает. Прорезают ее розовые сполохи грядущего рассвета. Белизна потолка. И робкое пламя свечей. Когда Илья открывает глаза – а веки тяжелы, что свинцом запечатаны, – он сначала не видит ничего, кроме этого пламени, которое само по себе прекрасно.

– Здраве будь, племянничек... – Дядя Михаил сидел у постели, в креслице низком. – Выжил-таки.

– Выжил. А...

– И матушка твоя жива. В обители она.

И замолчал.

Стар он стал. Иссох весь. А ведь маг. Маги старятся медленней обычных смертных.

– Она...

В обители. И в какой – не скажут. Илья не ребенок, понимает, что коль ушла от мира, то и от него, Ильи, ушла.

– Таково было ее собственное желание, Ильюша. И не мне ее останавливать. Душа ее крепко измучена. Кровит вся. И покой ей надобен едва не больше, чем тебе.

– А...

– И сестриц бы твоих в монастырь отправить.

– Или сразу в могилу?

– Слышал, значит? – Дядюшка не стал притворяться, будто бы не понимает, о чем речь. – Хорошо. Значит, не придется врать, очень я этого не люблю. Что ж, самое бы верное было их в могилу отправить. Оно, может, и жестоко, да порой и жестокость – милосердие. Твари, которые в них вселились, с душой сливаются, под себя ее меняя. А когда переменят, то рождается еще одна тварь, которая новое тело ищет.

– Я их...

– Изгнал? Может, и так. А может, и нет.

В дядиной руке появились нефритовые четки. Илья хорошо их знал, из белого камня резанные, они были с дядюшкой всегда. Задумавшись, он перебирал бусины, когда осторожно, так, чтоб одна другой не коснулась, а когда и быстро, и тогда бусины сталкивались, издавая сухой неприятный звук.

– Видишь ли, Ильюша... если твари ушли, то сестры твои все одно останутся ущербными. Сколько они душоужорок носили? Не один день. Да и не один месяц. После такого никто прежним не останется.

– И что?

Сухо было во рту.

– А то, что не одну, так другую гадость подцепят. Вот... а если не ушли, если затаились? Ты готов взять на себя ответственность не за сестер, а за других людей, которых они изведут?

– Готов!

Илья с трудом, но сел.

Огляделся.

Махонькая комнатка, не комнатка даже – иная конура просторней будет. Окон нет. Потолок низенький. На полу шкура запыленная медвежья кинута, у самое кровати. Вот кровать хороша, из дуба резана, перин навалено – утонуть недолго.

– Не горячись. Решение принято, и каким бы ни было...

Он слегка поморщился.

– Она тоже жалостлива сделалась. А может, свой резон имеется? Оставят их. Здесь, в тереме царском, оставят. Под ее присмотром. Объявлено пока, что приболели девушки.

– Отец?

Дядька убрал четки.

И вздохнул.

– Умер он... Его живым взяли... когда ты заклятье прочел, то силу выпустил немалую. Всплеск таков был, что сторожа по всей столице всполошились. К дому вашему... а в доме, уж прости, Ильюшка, только вы пятеро из живых остались. Да и то... Матушка твоя стонет и плачется. Сестрицы лежат без памяти. Ты сам едва-едва дышишь, а братец мой только и стенает, что ты его работу порушил.

– А люди?

Была же дворня.

Та Малушка.

И кухарка с помогатыми. И отцов старый дядька, поставленный вещи блюсти. Девки, которые сестрицам прислуживали, дом мели да глядели... Что с ними?

Дядька Миша головой покачал:

– Не вини себя. Духи – твари коварные, а уж этот-то... Будет мне наука... То, что я скажу... в Академии многое есть из того, чему не надобно на белом свете быть. Книжки. Вещи вот... К примеру, фиал с духом одного некроманта, который искал вечной жизни. До дня вчерашнего я думал, что фиал этот находится там, где ему и положено: в шкатулке, опечатанной семью печатями, еще прежним ректором заговоренной. Но нет, пуста шкатулка, взломаны печати. И так аккуратно, что не скажу даже когда...

– Давно.

– Это я и без тебя знаю, что давно, – отмахнулся дядька, и четки в его руке раздраженно защелкали. – Пылищи на ней собралось с два пальца. Не в этот год взяли и не в прошлый. Ладно, что было, то было... Главное, твой отец умудрился эту тварь призвать. Связал с телом... и никуда эта погань от нас не делась бы...

– А матушка... он ее убить грозился!



– И самому умереть? Нет, дорогой, на это он не согласен. Но, повторюсь, не тебе с духом тягаться. А твой отец... он ничего не скрывал, разве что от кого ту книгу проклятую получил, но и на этот вопрос ответил бы, никуда не делся. Заплечных дел мастера хорошо свою работу ведают.

И это упоминание о пытках покорило. Неужели бы отдал родного брата?..

– Отдал бы, Ильюша... Если бы мог отдать, отдал бы. Но тварь раньше до него добралась. Сирота ты теперь.

Помолчал, позволяя осмыслить. А чего осмысливать? Все одно не оставили бы в живых.

– Если бы по-тихому, тогда... но, видишь ли, твой выплеск все слыхивали. Многие к подворью стянулись. А там стрельцы. Пришлось сказать, что батюшка твой смуту затеял. Сговорился с Гервишцами и Натос-Одинскими... Они ей давно поперек горла были, да...

– Смуту?

Отец и смута. Глупость какая. И никто в это не поверит. Определенно никто не поверит, но...

– Дело такое, Ильюша. – Бусины на четках замелькали быстро-быстро, отстукивая мгновенья прошлой своей жизни. – В смутьяны записали – это, конечно, нехорошо... это суд... и земли ваши...

Меньше всего Илья о землях думал.

– И пятно на тебе, но лучше пусть отца твоего смутьяном запомнят, чем тем, кто по глупости с темными силами связался. Сам знаешь, что закон про таких говорит.

Илья знал.

Выжигать.

Костры и железо каленое. И семя зловерное выкорчевывать.

– Ты ведь тоже коснулся той книги. И начнись разбирательство, тебя не пощадили бы... Из благих ли побуждений, из глупости или просто случайно, но ты открыл ее. Читал. И провел обряд.

Илья опустил голову.

И пол ушел из-под ног...

Память. Ее почти уже не осталось. Мягкая ветошь, которую пихала нянька в купленные на вырост сапоги. Пуховое одеяло, которым Илья накрывается с головой, мечтая об одном – раствориться в этой душной темноте. И еще немного – стыд, заставляющий дышать.

Трусость.

Был бы храбрым, нашел бы способ прервать никчемную свою жизнь.

– Ты не дури! – Одежда слетает, сдернутое сильной рукой дяди Миши. – Ишь, вздумалось...

– Я виноват...

– В чем, бестолочь? В том, что твой отец завязался с силами, с которыми справиться не сумел? Или в том, что пытался спасти близкого человека?

– Но...

Глаза слезятся.

И белизна потолка причиняет боль.

– Вставай! – Дядька Миша за плечо стаскивает Илью на пол. – Вставай и подбери сопли. Потом себя жалеть станешь.

– Я не могу.

– Можешь. В первый день поднялся ведь, а теперь...

– Плохо мне.

Тело не слушается, и Илья возится на полу, что таракан. Встать надо, хотя бы чтоб в дядькины глаза посмотреть, а то перед носом лишь сапоги его с заломами.

– Всем плохо бывает. Думаешь, мне хорошо? Я за тебя ей обещался...

– Это она. – Илье удастся вцепиться в край кровати. – Это ее книга... отец говорил, что ее...

– Может, и так. – Дядька лишь наблюдает за его мучениями, не делая попытки помочь. Да и не принял бы Илья его помощь. Гордость – единственное, что у него осталось. А еще чувство вины.

Надо было уйти.

Позвать кого... Хотя бы его вот... Дядька Михайло никогда не отказывал в помощи. И маг он... целый ректор. Неужели не сумел бы?.. Ведь говорит, что сумел... и тогда все иначе было бы.

Дух вернулся б в тюрьму свою.

Мама.

Сестры.

Отец. Дядька Михайло нашел бы способ вразумить отца. И тогда... тогда не объявляли бы его смутьяном. Не палили бы подворье, пытаясь скрыть смерть всех, кому судьба выпала в тот день остаться. И сам Илья, и его судьба иначе повернулась бы.

– Вставай-вставай! – Дядька в креслице свое сел и четки достал. – И слушай, глядишь, услышан будешь. От чувства вины я тебя не избавлю. Это, дорогой, твое дело. И твоя совесть. Научись с нею ладить. Сестры твои живы, и она за ними приглядит. Не даст разгуляться...

– А я?

– А что ты? Ты живой. Целый. А что слабость, так пройдет... Конечно, теперь ты у нас сын смутьяна, но, знаешь, даже странно, что она тебя пощадила. Бояр забоялась, что ли? Все ж наследник, и прямой. У нашего, сам знаешь, с этим делом туго. И пусть говорит она, будто бы жив сын его, да... если и жив, то кто знает, что завтра случится? Ты ей нужен. Каждый день справляется. И гневаться изволит крепко на твою блажь. Не заставляй ее саму...

– Это ее книга! Ты не слышишь?!

– Слышу, дорогой племянник, еще как слышу. И говорю, что, может, оно и так, да только поди докажи. Подворье моего братца тьмю пропахло. Кровью пропиталось. Там и без всякой магии понятно было, что хозяева не Божинин храм возводили. А она... вот выйдешь ты завтра из палат этих и станешь говорить глупости. Думаешь, послушают? Были бы у тебя доказательства, многие б обрадовались. Это ж какой предлог, чтоб ее сместить... И царицы Правде подсудны. А вот без доказательств получается, что ты, Ильюша, по злобе душевной на спасительницу и заступницу свою клеветешь.

Память рассыпалась.

И я вновь стала собой.

Сидим. Молчим.

А чего сказать? Что если б Ильюшка не сглупил тогда, все б иначе повернулось? И бабка моя... Нет, бабка сказывала, что знал бы наперед, где упадешь, соломки кинул бы.

Да и неужто я сама, случись с моими беда такая, упустила б шанс?

Знаю ответ.

– Теперь понимаешь, что с ними надо осторожней быть. – Илья вытянул дрожащую руку над свечой. – Несколько лет... за ними наблюдали пристально. Люди приставлены были. В покоях – амулеты, и проверяли постоянно... Ничего не находили.

Может, и так, только девки, к сестрицам Ильюшкиным поставленные, бледны да пугливы сделались, хотя всего-то два денечка при боярыньках пробыли.

– И если так, то у меня получилось? – Он улыбнулся виноватой кривой улыбкой. – Я себя убеждаю, что получилось, что не могло не получиться, потому как тогда выходит, что все зря, что я...

Я Ильюшку по руке погладила. Утешить бы, да со словами я не больно управляюсь. Не найду таких, которые взаправду утешат, а то еще и глупость какую ляпну. У

него ж душа обесшкурена, такую тронь – и закровит.

– Тогда почему я их боюсь? Он еще тогда сказал, что теперь я в ответе, если не хочу отослать... что она их держит ради меня... чтобы привязать покрепче. Куда уж крепче? А еще капитал политический...

Я кивнула важно.

Про капиталы всяческие мне Люциана Береславовна распевывала давече – что про те, которые в крынках хранят, на заднем дворе оные крынки прикопавши, что про иного всякого свойства. И тогда было удивительно, как это голова моя капиталом служить способная. Одно дело, когда голову эту из золота отльют аль из серебра, и другое, когда на плечах она и знаниями набитая.

Сестрицы ж Ильюшкины тоже товар.

Вот, замуж отдать можно, милость кому оказавши. Хотя, на этих невестушек поглядевши, жалею я женихов их, потому как с такой милости и окочуриться недолго.

– И что рано или поздно, но именно мне придется решать, как с ними быть. Я все думал, что этот момент если и настанет, то не скоро. – Ильюшка поднялся, одежду одернул. – А оно вот как вышло. Приехали... встречай... И куда дальше?

– Не знаю.

### ГЛАВА 3

#### Об любовях и нелюбовях

День четвертый лета.

И солнце, которое с самого утречка полыхнуло жаром, окатило – что крыши красные, черепичные, что улочки узенькие, что сады да крылечки.

Сгинул с крылечка онога кошак старый.

Кобели в буды попрятались, полегли, языки выкативши, только вздыхают горестно. Куры в грязи и те копошкуются лениво, даже не квохчут. Я на кур из окошка поглядваю да семки лузгаю.

А в голове одно крутится.

Как бы до осени дотянуть и... и если выпадет все сделать верно, то взаправду сбежим с Ареем. Станька за бабкой приглядит. Деньгов ей отправлю, чтоб было за что век доживать. Не станет царица-матушка старуху из деревни выколупывать, чай, не царское сие дело.

А мы уедем.

На самый край мира, хотя ж Люциана Береславовна и утверждает, будто бы краю оного вовсе не существует, что сие – исключительно оптическая иллюзия, а на деле земля наша что шар, вроде мячика дитячего. И что если все время в одну сторону идти, то с другой выйдешь, правда, конечно, как в сказках тех, и сапоги железные, ходючи, истопчешь, и караван медные изгрызешь, и сам, может статься, сгинешь на чужбине.

Сказывала.

И показывала.

Что карты. Что шар, картами размалеванный, глобусом величаемый. И вроде глядела я, верила, а душой не понимала, как же так, чтоб земля наша круглой была? И как с оной земли тогда мы не падаем? Нет, это она тоже объясняла, правда, вздыхала и пеняла меня за дремучесть, а заодно уж книжиц дала цельный короб на внеклассное, как сама сказала, чтение, чтоб мою дремучесть побороть и политесности во мне прибавить.

Вот книжицу я и читала.

Пыталась.

Жаркотень... На такой жаре буквы сами собой расползаются. А еще мысли мои что масло растекаются. Точно, уедем. Чтоб как в сказке... подхватит меня добрый молодец в седло и увезет за горы далекие, моря соленые.

За моря, пожалуй что, не надобно. За морями теми земли лежат, где люди черны, а звери предивны. Ладно, к зверям-то я привыкла б, а вот серед черных людей зело выделяться станем...

– Посмотри, сестрица, – голос Маленкин перебил мои размышления, а я аккурат меж свеями и саксонами выбирала, прикидываючи, где нам с Ареем больше рады будут. Выходило-то, что нигде. – Неужели ныне и холопок грамоте учат? Что читаешь?

Маленка села рядышком и острым локотком меня в бок пихнула. И вроде сама мала, ведром накрыть можно, и силушки в ней – на слезу кошачью, а локоток остер, ажно дыхание перехватило.

А она книжку цапнула.

– «Описание земель дальних»... Скукотень. Зачем тебе это, девка?

– Меня Зославой кличут, – буркнула я и за книжкой потянулась.

Боярыня ее за спину упрятала и язык показала, мол, попробуй отбери, коль сумеешь. Я ж только рученькой махнула, небось книжка не из самых дорогих, и если збиедает[5] ее сия стервядь, а она может исключительно из редкостного паскудства своей натуры, то заплачу Люциане Береславовне.

– Буду я всяких там имена запоминать.

И сама сидит.

Глядит.

Выглядывает, злюсь ли я.

Не злюсь. На больных и блажных не обижаются, а она... вот, может, и выглядывали ее что жрецы, что магики царицы и не углядели зла, да только и добра в Маленке ни на ноготочек. Человек ли она? Не ведаю. Может, и да, есть же такие люди, которые, иным жизни не попортивши, счастья не ведают.

– Эй ты, моя сестрица знать желает, когда жених ее явится. – Она поднялась и книжицей меня по голове стукнула. Точней, попыталась стукнуть, да я уклонилась и книжицу перехватила, дернула легонько да с выкрутом, как Архип Полуэктович показывал, она и не удержала. – Да ты еще пожалеешь, что на свет родилась!

Маленка аж побелела от злости. И ноженькой топнула. Ну да меня топотом не больно напугаешь.

– Жених, – говорю, в глаза гляючи, – так откуда мне ведать? Пуцай письмецо ему напишет... передам, так уж и быть.

Говорю, а сама... лед-ледок... нету льда, не ложится он на пересохшее русло. И видится мне Маленка не девкой, а рекой, из которой вода ушла, на самом дне разве что пара мерзлых лужиц осталась. В такие не провалишься.

– Ты, девка, – она уже шипит, слюной брызжет, что сковородка жиром, – говори, да не заговаривайся. Делай, что велено!

– Кем велено?

– Мной!

– Когда велено? – И гляжу так ясненько.

– Сейчас!

– Да?!

Была у нашей боярыни серед двора девка одна, за редкую красоту взятая. Волос золотой, глаз синий, личико чистое. И сама-то она, что лучик солнечный, завсегда ясна и приветлива. Вот и позвали в усадьбе служить. Только ж оказалось, что все у нее в красоту ушло. В голове ж пустотень... Начнут ей поручения давать, она глядит, глазами хлопает и улыбается.

Что она мне вспомнилась?

– Ты... – Маленка ажно дар речи потеряла. – Ты... тут не шути мне!

– С кем?

– Думаешь, самая умная? – Маленка вцепилась мне в руку и пальцы сжала, выкрутила. Вот же ж, боярыня, солидность иметь должна урожденную, а она щиплет, как гусак паскудный. – Ничего, дорогая, скоро поймешь, с кем

связалась. Все вы поймете...

И сгнула.

Чего хотела? Я книжицу-то отряхнула, положила на тряпицу чистенькую да возвратилась. Как там Люциана Береславовна сказывала? Самообразование – ключ к успеху. Вот и будем оный ключ ковать, капиталу головную множить.

Пригодится, чай.

Нет, к сваям не поедем. У них бабы уж больно хороши, если описаниям верить. Лицом белявые, волосами пышные... Баб мне и ноне хватает. Может, к морю?

Арей объявился ближе к полудню, когда я до страны Кибушар дочитала. Про нее нам, помнится, Милослава сказывала, да как-то коротенько. В книжице-то про эту страну добре расписано было, что, мол, лежит она на песках, а в тех песках родники живые, и на каждом роднике свой царь сидит. И у него жен столько, сколько прокормить он способный. У одних – дюжина, у других – ажно и пять дюжин.

Туда мы тоже не поедем жить, а то мало ли...

Вот отчего так – что у азар, что у кибушаров, что у иных многих народов одному мужику много жен позволено брать? Но нигде нет такого, чтоб одной бабе двух аль трех мужей прибрать можно? Иль с того сие, что ни у одной бабы в здравом розуме на двоих мужиков нервической силы не достанет?

– Здравствуй, Зослава. – Арей сел рядышком и протянул леденца на палочке. Простенького такого петушка, которого из сахару варят да с соками разными. И соки леденцы в разные колеры красят. Нынешний был золотым, полупрозрачным и до того сладким с виду, что рот слюной наполнился.

– Спасибо.

Петушок был духмяным. И значит, не только сахару, но и меду не пожалели.

– Что у вас за беда приключилась?

– Где?

Арей тяжко вздохнул.

– Прислали мне нарочного с письмом, что тут мою невестушку обижают. Вот думаю, которую...

Я петушка и отложила.

Разом и цвет утратил, и запах, и... и тошно стало. Я тут сижусь, мечтания мечтаю об том, как жить станем, пусть и на краю мира. Может, получится до того края добраться и с него плюнуть.

– Не меня, если...

Если считает он меня своей невестой.

– Да я так и подумал. Тебя обидеть можно, конечно, но жаловаться ты непривычная. Она и царице отписалась.

– Которая из них?

– Тоже заметила? – Он руку мою нашел и погладил осторожно. – Вернись в общежитие...

Я б с превеликой радостью. Пусть и велик терем, мне даренный, пусть и богат, полны сундуки добра, а все одно неуютно мне в нем.

Дом?

Нет, не дом. Не тот, об котором мечталось. Да только как оставишь гостей, пусть и незваных, да званием немалых?

– Плевать. – Арей тряхнул головой. – Я только и думаю, как бы они тебя... как бы не случилось чего... не знаю... Меня с вами отправляют. А их – со мной, то есть формально – с братом, который безмужних сестер в городе оставить боится.

– А он боится?

Ильюшка в гости каждый день заглядывал. Только гости были престранны. Он являлся и садился за стол, сестрицы усаживались напротив. Да так и сидели молча, глаза друг на дружку. Высиживали когда час, когда и два, а после расходились.

– Останься, – попросил Арей. – Никто не заставит тебя ехать. Скажи Люциане, она тебе мигом дело отыщет, где подальше... или вовсе больной скажись. Поверят.

– А практика?

– Зачтут. Найдут способ. Зослава...

Что сказать? Не он первый говорит об этаким. Мол, всего-то надо, что захотеть, и сподмогнут добрые люди, сумею отвод дать, чтоб не ехала я в земли дальние, не искала приключений на зад свой, который ноне вовсе не так уж и широк. Да только... вот как мне их всех бросить?

Царевичей бедолажных.

И Кирея, который чем дальше, тем беспокойней делался, будто грызло изнутри его то самое азарское пламя, с коим не всякому совладать выйдет. Ильюшку... Лойко... Невестушку свою названую утративши, он сделался смурен и молчалив. Наособицу держится, а тронешь – вспыхивает злостью непонятной, только и отгорает быстро, сам винится.

Куда они одни?

Да и... есть же и слово даденое, и монета клятая, и жених, который, даст Божиня, женихом и уйдет... Есть сон мой и книга серая, которую Хозяину вод возвратить надобно, пока иных каких бед она не натворила. Есть... многое за мною есть.

Не останусь.



А захочу, то, мнится, и не оставят.

– Нет, значит. – Арей понял все без слов. Обнял. Коснулся сухими губами лба. – Извини...

– За что?

Он-то в чем виноватый?

– За все. За то, что вышло так, неудачно... за то, что сам я...

– Обнимаетесь? – Маленкин визгливый голос едва ль не заставил подскочить. Еле на лавке усидела, честное слово. – Ты погляди, Любляна, на это безобразиие!

Стоит боярынька наша, руки в бока уперла, глазами зыркает гневно, значит, ноженькой притопывает... Ох и грозна, как мышь, на кота войной пошедшая.

– Погляди, погляди. При живой-то жене...

– Пока не жене. – Арей руку свою не убрал. И чуяла я, злится. Внутри закипает дикое азарское пламя, а Маленке то в радость. Ажно засветилась.

– Невесте, царским словом даренной! Тебе, ублюдку, милость великую оказали...

– Цыц! – рявкнула я.

И как-то так рявкнула, хотя от жизни не крикучая, что Маленка присела. Правда, скоренько спохватилась и айда в крик.

– А что тут делается! – Визгучий голос ее всполошил курей, развалившихся было на солнышке, и те с квохтанием брызнули в стороны, только пыл поднялся. – А, люди добрые...

Ох, и верещала она! Вороны и те слухали-заслухивались, до того красиво выходило. Этак не каждая торговка сумеет, не то что боярыня родовитая.

Я прям рот и открыла.

После-то вспомнила, что Люциана Береславовна за этот рот раззявленный, которым только мух ловить, ругивала крепко, и закрыла. Подперла кулачком щеку, на Маленку уставилась. Ну и гляжу, значит, жду, когда человек проорется. Она же ж, знай себе, по чести идет, что по мне, что по Арю и евонной матушке... что по моим родителям... Выдохлась наконец.

– Пересохло в горле? – молвила я наилучшим тоном. – Может, кваску подать?

Маленка только запыхкала, что твой еж, и выскочила с горницы, только дверью лягнула так, что мало терем не развалился.

– Кваску, значит? – Арей бровку поднял.

– Кваску... а то мало ли, может, всего не досказала.

Глянули друг на друга и прыснули смехом. Вот же ж, люди добрые...

И недобрые.

– Знаешь, Зослава, а с тобой весело. – Арей отер слезящиеся глаза. – Даже когда причин для веселья вроде бы и нет.

– Царице жаловаться станет?

– Разве что для порядку. А так ее никто слушать не будет, и она это знает распрекрасно. Нет, здесь другое. Пройдемся? – Он встал и руку подал.

А я что? Приняла. Как оно там осенью будет, еще вилами на воде писано. Может, и не доживем мы до той осени, так чего время на глупости тратить?

Выплыли мы со двора, лебедь с лебедушкой. Ну, хотелось мне лебедушкой хоть когда побыть, правда, чуяла всей сутью своей, что не лебедушка я, но как есть гусыня обыкновенная. А и пускай себе, тоже птица хорошая, строгая.

К воротам дошли.

И за ворота.

Город задыхался от жары. Солнце пекло немилосердно.

Пыльно.

Духотень. И по этой духотени собаки и те попрятались, что уж про людей говорить. Дремали в теньке нищие. Страдали лоточники. И ни пирогов никому не хотелось, ни пряников, ни орехов каленых. Арей, правда, купил кулек, но больше для порядку.

– Как ты себя чувствуешь? – спросил он.

А я плечами пожала.

Обыкновенственно.

Лениво разве что. Экзаменации сдала, до практики еще неделя цельная, а я, заместо того, чтоб делом заняться, бока на перинах вылеживаю. Отдыхаю.

– Не болит голова? Слабость непонятная или вот кружится...

Он и рукой крутанул, показываячи, как кружится. А никак она не кружится. Я только рученьками и развела, мол, не чую за собой этаких приличественных слабостей, и значит, нетушки причин в столицах оставаться.

– Я не к тому, Зослава. – Арей мысли мои нехитрые прочел и усмехнулся. А ведь ныне он глядится если не как боярин, то всяко не голодранцем. Вон, штаны новые, и рубашка из ткани легкой, и камзол тонюсенький, самое оно на летнюю пору. Вроде и прост, а пуговицы с перламутровым глазом да каймой золотой. И сапоги яловые, желтого колеру, на каблуках звонких. Идет Арей, и каждому слышно.

К новой одежде и новую невесту...

Кольнула подлая мыслишка да и отпустила. Не станет он так поступать, не со мною.

– Мне кажется, что эта красавица неспроста ныне завелась... Я кое-кого в тереме порасспрашивал, раз уж ныне меня там гостем дорогим зовут, – и внове усмехается, только кривенько так, мол, мы с тобой-то ведаем цену взаправдошню этому гостеванию. – До смерти они там никого не довели, это правда. Прищемили хвосты поганкам. Но вот что девки дворовые на них жаловались – то сущая правда. И вроде бы не сказать, что боярыни капризны сильно были... вовсе-то некапризных нет. Однако же силу тянут... Одна все вздыхает да помирает, а другая за любую мало-мальскую ошибку отчитывает, и так, что поневоле злость пробирает.

– Как тут?

– Именно. – Он меня к скамеечке подвел.

Это ж мы гуляли-гуляли и аккурат к площади выгуляли рыночной, которая и по нынешнему летнему часу жила, хотя ж и ленивой жизнью. Гудели торговые ряды, вились над мясными мухи, орали на рыбных что коты, что торговки одинаково мерзотными голосами, сияло на солнышке серебро и золото богатых лавок...

Дремал у столба позорного пьянчужка, стаяй псов бродячих окруженный.

А над скамеечкой нашей растопырил лапы кованый цмок-змея виду предивного. Под оным и табличка имелась, что сделанный он был мастером Ульгваром Леворуким по заказу гильдии кузнецов, чтобы мастерство свое перед иными людьми и купцами показать.

– И вот подумалось мне, что неспроста это. Тварь если есть какая, то голодна. А как голод утолить? Силой жизненной. Откуда взять? Вытянуть. Да так, будто бы сами жертвы эту силу и отдали. Вот одна гнев вызывает, а другая – на жалость работает. Человек-то, когда гневается, открытый... Вы это позже проходить станете. Самое поганое, что не один я такой умный. – Арей присел рядышком и ноги вытянул, на сапоги свои уставился во все глаза. И я поглядела. Хорошие сапоги, правда, необмятые и, значит, трут. Надобно кожу маслицем постным вымазать и в тряпицы закрутить на ночь, тогда она помягчает. Батка мой еще так делал. – В жизни не поверю, чтобы в тереме царском никто не обратил внимания на этот... нюанс.

Голуби курлычут.

Слышала, что ноне в столице новая мода, чтоб молодые голубей в небо отпускали. Ему, значит, сизаря суют, а невесте – голубку белоснежную.

Красиво, должно быть.

А с другой стороны, оно-то глядеть красиво, но с птицей пойдика договорись. Взлетит и обгадит. И пушай сие к деньгам – верная примета, – но навряд ли невестушка, которой такое приметится, рада будет. Тут же ж голуби к ногам нашим слетелись, пихают один одного, что бояре думские, да кланяются, жалются на судьбу.

– Но предупредить нас не сочли нужным. – Арей кулаки стиснул. – Кинули гадюк пару, и думай теперь, чего с ними делать. Избавиться? Это если доказать выйдет, что они уже не люди. А так... Нервы треплют? Это не преступление. Но держись от них подальше.

– Кирей...

– И от него тоже. Мутит он что-то, а что – не пойму. – Арей поскреб лоб и пожаловался: – Рога лезут... все не вылезут никак. И болит, и свербит.

– Почесать?

– А и почеси. – И голову наклонил, чтоб, стало быть, чесать сподручней было.

Я и поскребла. Надо же, два махоньких пятнышка на лбу проступили, красные, навроде лишайных, только еще припухлые. А под припухлостью этой тверденькое чутся.

Вот же ж, не один, так другой... Видать, на роду мне писано было мужа рогатого заиметь.

– Хорошо... – Арей еще ладонью раскрытой лоб погладил. – Чувствую себя знатным козлом...

Я перечить не стала. Коль чувствуется человеку, то отчего б и нет?

– Когда поедем... вот. – Он вытащил из кармана колечко медное, золотой проволокой обернутое. – Я, конечно, не мастер, да только эти годы не зря хлеб ел. Понимал, что только руками своими жив и буду. Вот и делал кое-что на заказ. А это и для себя... для тебя.

И сам колечко на палец нацепил.

А в проволоке камушки крохотные стеклянными осколочками блестят. Или не осколки, но роса будто бы? И сама проволока, в медь вплавленная, узором идет предивным, словно одна руна в другую перетекает. Гляжу, и... и узор плывет, меняется.

Вот руна старшая Хааль, которая есть защита и основа. Вот троица младших... Или привиделись лишь? Мелькнули и исчезли в золотых волнах.

– Защита. В том числе ментальная. Пока ты носишь, ни одна нелюдь к тебе и близко не подойдет. Ты, конечно, сама справляешься прекрасно, только... мне спокойней будет. Ладно?

Раз так... да и не только спокойствия ради. Колечко – это дар особый. Сестрам кольца не дарят.

– Спасибо.

Я колечко примерила.

Со страхом – а ну как не в руку придется? Случается такое, а это верная примета, что не будет в семье ладу, мол, сама Божиня знак дает, что не по себе невесту берешь. Аль жениха.

Нет, скользнуло колечко на мизинец, обняло теплом ласковым.

– Пожалуйста. – Арей улыбнулся так... открыто. – Я все сделаю, чтобы тебя уберечь.

## ГЛАВА 4

Где еще сборы ладятся

День пятый.

Дорогая моя Ефросинья Аникеевна, пишет тебе внучка твоя, надеюсь, еще любимая, но всяко единственная. Челом бьет и справляется о твоём здоровьице. Ладно ль доехали? Легка ли была дорога? Мягки перины? Крепок ли возок? Мне-то добрые люди сказывали, что, мол, на Выжнецах вы трактир изволили покинуть, поелику собака трактирщикова вас обляяла матерно, с того и оскорбились и в чистом поле ночевали. А сие для вашего здоровья нынешнего не есть пользительно.

Я перышком нос почесала, мысля, как дальше письмо писать. Третье уже... Не знаю, что бабка моя с первыми двумя сделала и дошли ли они вовсе до Барсуков, но вот... пишу.

И надеюсь, что очуняет[б] она.

Одумается.

И сама ж над собой, столичной особой, посмеется еще. А я, коль буде милостива жизнь, посмеюсь разом с ней. Со смеха, говорят, годков прибавляется.

Я ж так мыслю, что псина она не со зла пасть раскрыла, а исключительно от неведения. Собачий розум куций, где ж ему, кобелю трактирному, уразуметь было, кто на двор евонный ступить изволил, милость оказавши. Вы б ему сперва разъяснили, тогда б, глядишь, устыдился бы, поганый.

Доехали.

Пусть и ругалась бабка крепко на провожатых. И требовала немедля повернуть, дескать, дела у ней в столице преважные, не холопьего разумения, но боярской руки требующие да пригляду. Карами грозилась. И плакала. И хворой сказывалась. Станька о том весточку передала.

Тяжко ей.

Бабка как уразумела, что не боятся провожатые гневу ейного, то капризной сделалась, что дитя малое. То ей сквозило, то грело, то прело, то перина комковата, то одеяла тяжелы...

Нонече и мы в дорогу собираемся, поедем, а куда – мне сие неизвестно. Да и не

только мне. По Академии слухи самые разные ходят. Одные бают, что отправят нас к Верхним Бережкам, которые есть село славное, не раз студиозусов привечавшее, там, дескать, каждый год первый курс практику проходит. И местная нежить к сему привычная. Другие ж уверения, будто бы до Бережков мы не пойдём, поелику нынешним годом там будут ждать люди, и сплошь недобрые, которые восхочут царевичей смерти лютое предать, а заодно уж всех, кто с ими буде, а потому поедём мы в Броды. Я ж мыслю так, что не будет нам ни Бродов, ни Бережков, а выберут иное место какое, из тех, которые известны мало.

Писать ли про то, что слухи эти нарочно пущены? Чтоб, значит, ворог гадал, где ж нас встречать хлебом и солью, да метался меж Бережками злополучными да Бродами, которые тоже деревенька немалая, а ныне, чуется, и больше прежнего стала, приветивши сотню-другую стрельцов.

Нет, не буду.

Бабке оно без надобности, а попадись письмецо в чьи руки, так с меня ж за длинный язык и спрошено будет.

Ехать нам уже через три денечка. Сперва-то разом пойдём, с целительницами, стихийниками и некромантусами нашими, которые заради этакой оказии из подвалов своих повыползли, ходят, бродят, бледнющие, что упыри на полную луну. Кривятся. Отвыкли они за учебу от солнца ясного.

Зевают во всю ширь и норовят на ходу придремать. Один и вовсе брел, брел, на стенку набрел, лбом в нее уткнулся и придремал, сердешный. Целительницы-то сперва его обходили, а после одна, зело сердобольная, шальку свою на плечи набросила.

Суэта вокруг стоит, аккурат как у нас перед ярмаркой. Люд туды-сюды шастает, подводы грузятся...

Архип Полуэктович матюкается предивно, но больше не на нас, а на человека лысоватого и хмурого. Эконом Академии, как и многие прочие, был скуповат и хитроват. Мнится мне, что без таких свойств из человека вовсе эконома не сделать.

Он хмурился.

И причитал, что мы, сиречь студиозусы, вводим его и всю Академию в немыслимое разорение, еще немного – и вовсе по миру пустим со своими практиками.

И лошадь нам выдай.

И круп всяко-разных. Ведро. Котелок. Утвари по списку, Архипом Полуэктовичем всученному. А главное, выдали оный список мне, велевши все стрясти в точности. Я и трясла, как умела. Эконом же вздыхал и слезу пустил однажды, подсовывая мне вилки кривоватые, дескать, других нетушки и вовсе не в прямоте счастье. А ложки и вовсе сверленные, чтоб, значит, не крали. Как же этими сверленными суп есть, он не сказал, верно, вовсе был против того, чтоб студиозусы ели и продукты

казенные тем переводили.

Вот и сражались мы за каждый мешок.

А главное, что по норову своему паскудой редкостной будучи, эконом все обмануть норовил. То гречи недосыпет. То пшенку подсунет позапрошлогдню, которая уже и с запахом прели, и мышами поетая крепко. То сальце с прозеленью, которую всего-то и надобно, что тряпицей отереть. Котлы битые, а то и колотые, одеяла – драные... Но я науку вашу, сердешная моя Ефросинья Аникеевна, памятуячи, каждое одеяльце пощупала, не поленилась в мешки заглянуть, перевесить и крупы перетрясти с тем, чтоб вовсе негодные в Академии оставить.

Эконома местечкового этакая прыть моя вовсе не радовала. Он кривился. Хмурился. Кричать на меня принимался, что, дескать, возюкаюсь и его от дел важных отрываю, что окромя нас на нем еще семеро групп, серед которых некромантусы, а им, помимо одеял и крупов, еще надобно всякого прочего выдать.

Ножей там жертвенных.

Свечей сальных, катаных. Волосьев девичьих. Кровей...

Думал, напугает. Не на ту напал. И некромантусы, которые за спиной моей стояли печальные да тихие, меня нисколечки не пугали. Ждут? Так и подождут. Вона, им ожидание не в тягость, стоят и дремлют, что кони, на ногах... Чему их там такому учат, что с этой учебы они на ходу спят-то?

Два дня я, Ефросинья Аникеевна, с этим экономом мучилась, пока он, закричавши голосом дурным, что, стало быть, я есть ему от самой Божини наказание за грехи прошлые, в волосья себе не вцепился. А тех волосьев у него не так чтобы много осталось. И не от Божини я, но от наставника нашего с поручением. Так я ему и ответствовала. А что заставила заячьи хвосты в том меху пересчитать, так он же ж у меня их взад не мешком принимать станет, а поштучно. И ежель пары-другой недосчитается, то не простит. Нет уж, все по списку мы с ним вместе проверили и перепроверили.

И ложки у него нормальные сыскались.

И одеяла.

И котелки с прочей утварью. От устатку он мне еще соли с полпуда отсыпал, и хорошей такой, крупного помолу, зерняной. Она на рынке по три серебряных за пуд идет.

Перышко я отложила.

Вот же диво. Вроде и привыкла уже писать – что лекции, что рефераты, а все одно пальцы негнуткие, упрямые. Попишешь – и надобно шевелить, чтоб кровь по ним пошла. А письмо... Не о том бы мне писать, не об экономе и соли. Если по правде, то в тереме моем хватило б и котелков, и одеял, и круп всяких. А чего не хватило – рынок близехонько, там и сыскалось бы. Чай, не сбеднели б мы, сами себе

припасы справивши, но...

Написать бы, что скучаю зело.

По дому нашему. По яблонькам, которые перецвели. По Пеструхе и двору... Косили ль траву? Косили, верно, да... Все одно не каждую неделю, а стало быть, поднялась она, забуяла, особливо крапива у дальней межи. Эту крапиву бабка специально не выводила, чтоб было с чего щец наварить. С крапивы-то они хорошими выходили и полезительными. Малина, мыслю, тоже разрослась, недраная. А забор чинить надобно было еще прошлым годом. Огород... кто его сажил?

Хата за зиму отсырела, обиделась, что бросили без пригляду. Она и так без крепкой мужской руки едва-едва держалась. Арей забор поставил бы. И наличники подтянул бы провисшие. С полом сладил бы скрипучим. А еще крышу перестлать бы...

Вернусь ли я когда?

Увижу ль бабку, которая, мнится мне, краску с лица поистерши, постареет... Я без нее скучаю. А она как? Вспоминает ли меня? Чтоб не словом гневливым, как сославшую ее, боярыню, в Барсуки какие-то, но как свою Зославушку, которую на коленях баюкала да от болячек детских выхаживала?

Ох, боюсь...

А еще, любезная моя Ефросинья Аникеевна, надеюсь я, что свидимся мы вскорости. Практика наша хоть и положена, а длится все одно три седмицы, после ж нас всех по домам отпустят, чему я премного рада. Надеюсь, что тогда-то и перемолвимся мы словом, поплачемся обо всем, по-своему, по-бабьи, да и обнимемся, друг друга простим за все...

Всхлипнула я.

И платочком глаза отерла.

А после сыпанула на пергамент песочку мелкого, чтоб скорей, значит, просохли чернила, да бумагу эту стряхнула. Запечатаю сургучом, колечком приложу, оттиск оставляючи, и хоть не родовое у меня колечко, не намагиченное, которое печать неразламываемой сделает, а все красивше.

Выехали мы на семьй день.

А уж как выезжали... Небось вся столица сбеглась на этакое диво поглазеть. Про царевичей-то ведали, что учились они и цельный год проучились, помудрели...

Ну, как помудрели. Еська небось ежели чудом каким и доживет до седых волос, да при том мудрости навряд ли прибавит. Но народу о том говорить невозможно.

Неполитично сие.

Значитса, сперва загудели трубы медные числом с две дюжины. Под воротами



загудели, воронье окрестное пужая. И взвились черные стаи, закружили с карканьем. В толпе-то, мыслится, разом сыскались бабки, которые в том дурной знак узрели. Да только какая ворона, себя уважающая, на месте при таком гвалте останется?

Выстроились перед воротами трубачи в одеждах алых.

Щеки пучат, дуют в рога кривые, медью окованные.

Барабанщики стучат.

Певчие песню затягивают, царя-батюшку славят.

Тут же и знаменщики со знаменами. И ветерок полощет полотнища шелковые, отчего орлы на них кривятся да народу подмигивают будто бы. Вот вышел глашатай в шапке высокой, чтоб, значит, отовсюду его видать было, а для надежности на плечи рынды всперся. И уж оттуда волю царскую и зачитал. Дескать, словом и делом будет служить царевич всему народу, а для того отправляется ныне укрепляться в знаниях не куда-нибудь, а в Чернолужье.

Там, значит, нежить расплодилась.

А я хмурюсь, силясь вспомнить, где это самое Чернолужье искать. Уж не то ли Чернолужье, которое под Тулыным стоит? Да на семи озерах? Нежити всякой там и вправду изрядно, озера стоялые да болота – для ней самое милое место.

Глашатай же продолжал кричать, рассказывая, какие подвиги совершит царевич во славу царствия Росского и зачета по практике ради. Ажно я заслушалась... Это ж сколько нам нежити известь придется? Вон, и виверну помянули... Архип Полуэктович только нахмурился.

А мне подумалось, что как ни крути, но виверна ему родич.

Только крылатый и безголовый.

Вот глашатай и смолк.

Внове загудели рога. И трубы заорали. Застучали в барабаны барабанщики. Что-то громыхнуло. Лязгнуло. И ворота Акадэмии отворились, первую подводу пропускаючи.

Стрельцы.

Рынды.

– Нам бы еще скоморохов, – пробурчал Архип Полуэктович, в седло взбираясь. И парасольку свою открыл, на сей раз шелковую, расписанную цмоками предивными.

– Зачем скоморох?

Меня уже в Акадэмии посадили на вожжи, я их и подобрала, сжала покрепше: ну как испужается лошадка труб с рогами? Где потом ловить? У меня ж на телеге подотчетной утвари двести сорок пять единиц. Растрясет – экононом после душу из меня выколупает той самой дырявой ложкой.

– А без них не веселю. – Архип Полуэктович лошадку свою, махонькую да косматую, больше на здоровущего кобеля похожую, чем на коня, пятками тронул. – Не зевай, Зось, наш выход.. Народ жаждет зрелищ.

Вот тут-то я согласна была. До зрелищев наш люд зело охочий. И тут уж немашечки разницы – зреть ли, как смутьяна казнят, на ярмарочных скоморохов аль на выезд царевичев.

Поехали.

Сперва целительницы, коих ажно три телеги набралось. Да те телеги они покрывалами расшитыми прикрыли для красоты. Коням в гривы ленты заплели, на дугу бубенцов повесили гроздьями, сами разоделись, кто во что гораздый. Сидят пряменько. Спины держат.

И выходит же ж! Пусть телеги для таких выездов и не предназначенные...

За ними уж стихийники, которые больше верхами. А поелику из боярских детей они, то и кони были хороши, и сбруя. Ветерку намагичили, что по-над толпою пронесся, сыпанул серебристыми звездами, а оные звезды на землю посыпались монетами полновесными.

Загудел люд.

Иные, особо доверчивые, и кинулись магическое золото подбирать. Сие, конечно, зря... Эти монеты – иллюзия. Коснись – и распадется, обожжет пальцы холодком.

Нам Архип Полуэктович так объяснял.

За стихийниками некроманты выезжали.

Телега черная. Кобыла... Чуется, не особо живая кобыла, если и кобыла вовсе. Тварюка огромная, на которой разве что горы пахать. Бухает тяжко копытами, от каждого шагу площадь вздрагивает. Махнет тварюка хвостом, и люди шарахаются. Глянет красным глазом, и вовсе пятятся.

Некроманты знай себе подремывают на солнышке, в плащи закрутились, что наружу только макушки и торчат. Не люди – нетопыри. А там ужо и мы тихой сапой. Кобылка наша даром что неказиста с виду, а ходка. Телегу тянет, головой только потрясывает...

Царевичи-то оружными ехали.

И как-то вот видела я их, видела... После раз, и попрятались промеж стрельцов, поди-ка различи, где особа важная, а где обыкновенный служивый человек. Архип Полуэктович со своей парасолькой – вот уж кого и в дурном сне не попутаешь – и тот куда-то подевался. А из ворот Академии экипаж выкатил, значит, в четверик запряженный. Люд простой только и ахнул. Кони-то чудесные, с шеями лебязьими, сами белы, копыта серебряны. На облучке карла сидит в шапке высокой. Кафтан зеленый с рукавами длиннющими, что мало земли не касаются. А в экипаже, стало быть, Марьяна Ивановна наша восседает, в мехах да при шапке высокой, жемчугом шитой. И полной горстью медь звонкую людям кидает.

Настоящую, не чета зачарованной.

Я сама на этокое диво загляделась, рот раскрыла, позабывши и про приличественность, и про мух, которых летним часом проглотить недолго.

Да только диво на этом не закончилось. Не успел возок отъехать, как из ворот разъявленных показался витязь, и такой, про каких сказки сказывают. На коне гнедом, и конь этот – гора горой, сам в броню закованный, только грива пшеничная до копыт стелется, а в гриве той золотые ленты привязаны. Попона алая, до самых до копыт. И витязь восседает видом грозный. Плечами широк, руками могуч. В левой – секира, которой, верно, цельный дом от крыши до погребу перерубить можно, в правой – копьецо из дуба молодого. Вот глядишь, так и верится, что махнет секирой – и опустеет улица, копье в полет пустит – и переулочки сгинут... то есть не сами переулочки, к чему их бить, а вороги, которые в них прячутся.

Ежели прячутся.

По-за этого витязя, который лицо свое за кованой личиной прятал, народ сразу и попритих, про медь звонкую и то забыли. Зато внове трубы грянули...

– Зославушка, правь правей, вон на ту улочку. – Архип Полуэктович с конька своего на телегу перемахнул. И парасольку на мешки кинул. Вот, теперечи еще и за ней следить! Вожжи, главное, перехватил и коняшке цыкнул, чтоб ходу прибавила. И еще одно диво. Были перед нами стрельцы и не стало, куда сгнули? Того не ведаю... Только и через них, и через рынд, и через люд честной проехала телега на тихую улочку, которую туточки Бочкаревой прозывали.

Одна телега проехала, а другая в хвосте осталась, плелась за некромантовой, что привязанная. То есть аккурат и привязанная, как приличной иллюзии сие подобает.

– А...

– Позже появятся. Ты едь, внученька, едь, а то ж опоздаем к воротам. Ишь, окаянные! – На месте Архипа Полуэктовича дед сидел, старый и сухонький. Из-под картуза волосья клочьями выбиваются, борода взъерошена, лицо у деда приплюснуто да прикривлено, губы сухонькие поджаты, а к нижней папироска приклеилась. И дед этот папироску жует. – Развели балаган, ироды! Честным людям ни пройти ни проехать!

И клюкой грозитя непонятно кому.

Глянула я назад и обомлела. Стоят на телеге бочки – что огромные, ободами железными перетянутые, что махонькие, с два кулака.

– Езжай, внученька, езжай. – И дедова клюка в бок мне ткнулась. – После на чудеса столичные дивиться станешь. Ишь, учудили... развели... народ глазеет...

А глазеть было на что.

За витязем, в коем мне виделся Фрол Аксютович – вот на другого кого этакая броня не взлезла б, а когда б и всперли всем миром, небось не усидел бы в ней живой человек, – и моя наставница показалаась. Тоже при полном, так сказать, параде.

Коней тройка.

Черны-смоляны. Гривы подобраны и скручены бубинками, а каждая бубинка алою ленточкой перевязана. Попоны золочены. Упряжной под дугой идет, ноги выкидывая, что танцор, пристяжные к нему ластятся. Повозка на двух колесах, каждое с мой рост будет, стоит. Катятся колеса, сверкают камнями драгоценными. А по колеинам за ними трава прорастает, да не просто трава – ружы белые...

– Вновь иллюзией балуется... – Архип Полуэктович головой покачал. – Вот скажи, Зослава, отчего люди в короткой жизни своей не ценят, чего имеют? И даже когда потеряют, то, обретши вновь, снова забывают, что еще недавно готовы были все отдать, чтоб вернуть...

Люциана Береславовна в повозке сей – царица царицей.

В шелках азарских.

Синий.

И бирюзовый.

И серебристый.

Ветерок эти шелка тревожит, растягивает иные полотнищем, узор за узором раскрывая, а боярыня сидит бездвижна, не человек – кукла парпоровая. Лицо набеленное. Волосы башней, в коию воткнуты цианьские спицы с бубенцами да висюльками золотыми.

И хороша она.

До того хороша, что вздыхаю я... Знаю, для кого рядилась. И знаю, что зазря.

А потому цокаю нашей лошадушке, чтоб шагу прибавила. До заходних[7] ворот нам полгорода объехать надобно. Да через торговую слободу, где своих телег полно.

Проехали.

Протиснулись – когда сами, когда криком и грозьбой. И грозились не я, но дед Михей, который зело руглив был. Ох и матюкался ж он! Люд честный ажно рот раскрывал, слушаючи. Я и то пару словесей запомнила и про себя повторила. В жизни-то всякая наука пригодится...

За то и получила клюкой по хребту.

– Ишь, набралась, внученька! – Дед Михей сопел грозно. – Где ж это видано такое, чтоб девка ругалась? Выкинь дурь из башки своей!

И по голове уж клюкой.

– Деда! – возопила я, а стражники знай хохочут. Это мы аккурат к воротам подъехали, стало быть. – Этак ты мне весь розум выбьешь!

– Было б чего выбивать! Бабе розум что шальному коню свобода... и себе во вред, и другим не на пользу. А вы чего встали? Не видите, человек домой спешит!

И ужо страже грозитя.

Ох, и языкаст он был, всем досталось, кроме царя... Но ничего, пропустили и даже дороги мне пожелали доброй. Чего на сие пожелание дед Михай ответил:

– Не кривись, Зославушка... – Дед Михай по бочке постучал. – Он ведь и в самом деле существует, дед Михай из деревни Корвзята, и внучка его, Михалина, младшая и самая спокойная, иные-то с Михеем не ладят. Вот и отрядила ее родня с дедом торговать, потому как бочкарь он славный, на все царство Русское известный, только не с норовом его на рынке стоять, всех покупателей ославляет, а Михалина – девушка тихая...

И неказистая. Невысока, полновата, конопата. Глянула я на себя в зеркальце украдкой. Вот девка, таких на дюжину десятков.

– И каждый третий четверг дед Михай привозит свой товар на продажу. Останавливается в «Веселой курице», у сродственника, который один готов терпеть его придирки и сквернословие, потому как сам таков. К приезду Михееву вытаскивает он флягу сливянки, которой дня на три отдыха хватает, аккуратно чтоб Михалина распродалась... После вот Михай с опохмелу злой, злей обычного, садится на телегу... На этой седмице не свезло. Привез Михай товар для одного купца, но тот торговаться вздумал, вот Михай и уперся.

Бочки я потрогала. Надо же, будто настоящие.

Гладенькие.

Хорошие.

– Да и сродственник Михеев приболел, вот и не заладилась поездка.

– А...

– Настоящий Михай ногу подвернул, а одну Михалину отпускать отказался, как и прочих сродственников своих, которых за дураков держит. Сам бочки повезет, когда отойдет малость.

Я только и нашлась сказать:

– Это удачно вышло.

А дед Михай усмехнулся так кривенько:

– Удача подготовку любит... А Михай – свою внучку, которую единственную толковой считает. Вот и припрятывает для нее когда медяшку, когда две, а когда... приданое собирает, чтоб выдать за хорошего человека...

Я кивнула.

Вот же... не чаяла того, а все одно в чужую жизнь заглянула.

Ехали мы до Полушек, которые аккуратно перед столицей раскинулись, мимо дворов постоянных, мимо кабаков и трактиров. Выехали за поля пшеничные и через лесок сосновый, где нас и ждали.

– Это что деется-то? Что деется? – громогласно возмутился дед Михай, поскребываючи лысоватую маковку. – Здоровущие лбы, да без дела маятся!

Сказано сие было верно.

Как есть маялись.

Кони расседланы.

Костерок на поляне горит. Над костерком – рогатина, на рогатине – котелок, да из новых, неучтенных, поблескивает неопаленным боком. В котелке булькает ушица, и рыбный сладкий дух по всей поляне расплзается.

У меня сразу в животе заурчало.

Над котелком Кирей сидит с длинной ложкой деревянной. За его плечами – Еська с Елисеем, без ложек, зато, надо думать, с советами премудрыми, потому как на веку своем я усвоила, что без премудростей ушицу не сварить, выйдет обыкновенный рыбный суп.

Егор на лапнике прилег, под голову седло сунул, в небо пялится.

Думу думает, и по лицу евонному понятно, что дума сия про судьбу всегойнего мира, не иначе.

Емелька ложечку стругает. И во всем этом пейзаже такая благодать, что ажно слеза навернулась. Сидят, родненькие, нас ждут.

– Дядько, – Егор глаз приоткрыл, из дум выползаючи, – ехали б вы, куда ехали.

– Ишь, разговорился! – Дед Михай кобылку-то придержал и с телеги соскочил с нестарческой прытью. – А тут, за между прочим, мое место! Мы тут с внученькой завсегда останавливаемся, когда из городу едем.

– И что? – Егор открыл второй глаз и, узревши перед собой сухонького да лядащего старичка в дрянном одеянии, оные глаза и прикрыл.

– Траву потоптали! – взвизгнул дед Михай, клюку перехватываючи.

– Дед... – Егор поморщился. А то! Голос у деда был пренеприятственный. – Ехал бы ты... говорю...

– А то что?

Кирей от ушицы взгляд поднял.

И усмехнулся.

Узнал?

А если так, то Егору не подскажет, ложку свою переложил из правой руки в левую да помешал варево, на что Елисей с Еской зашипели в один голос. То ли рано мешал, то ли посолонь, когда наоборот надобно. А может, быстро аль медленно, кто ж их, мужиков, с рыбацкими их секретами поймет?

– Костер жжете! За конями не ходите! Ишь, развалился, простому человеку ни пройти ни проехать...

– Дед, – Егор привстал, – ты бы сумел, а? А то ж не погляжу, что старый...

– А ты и не гляди! – Дед Михай подскочил к Егору и по ногам клюкой перетянул. – Не гляди, что я старый! Небось силенок хватит, чтобы бестолочь этакую жизни поучить...

Этакого оскорбления Егор терпеть не стал. Ох, и взвился он, что кошка, которому под хвост хрену плеснули. И на деда кинулся. Да только того деда-то... оно ж лишь мнится, что соплей перешибить можно.

– Старых забижать?

Дед в стороночку отступил и Егору по плечам клюкой вдарил.

И по заднице.

И после... Я только вздыхала, на царевича глядячи. Гонял его дед Михай по всей поляне, а Егор злился. Пыхал. Матюкался... по-простому матюкался, без изысков. А добраться до деда не умел... Когда ж, вовсе озверевши, сотворил на руке огневика, дед головой покачал:

– Учишь вас, учишь, а без толку...

И бровкой вот так повел, отчего огневик прямо на руке и развалился, жаром шкуру царевичеву опаливши. Ох, и заорал Егор! Все окрестные птахи над рощицей взвились.

– Не ори, – сказал дед Михай голосом не своим, а Архипа Полуэктовича, и дланью могучей сказанное подкрепил. Оно и верно, с дланью как-то надежнее будет. – Сам влез, так что терпи...

Я только лицо за руками спрятала.

И жалко было мне царевича, которого и в листьях прошлогодних изваляли изрядно, и в грязи, а после своим же огневином подпалили, и смех разбирал. Уж больно лицо Егорово сделалось обиженным.

– Но...

Он руку свою к груди прижал.

Опалило, но не сказать, чтоб сильно. Шкура красная, да без пузырей и не облазит. Болюче, правда.

– Помоги этому олуху, внученька, – передразнил деда Михея наставник, исконный облик свой принимаючи. – А ты, дурень, другим разом не гордостью боярской, а головой подумай. Ишь... решил, раз дедок, то и обидеть можно?

– Вас обидишь, – пробурчал Егор и головой потряс, пытаясь от листа осинового, в кудри вбившегося, избавиться. – Если б я знал...

– А ты не знал? А вы?

– Ну... – Кирей ложку свою Еське передал. – Я сигналки ставил. Ни одна не сработала, хотя должна была бы... Значит, если это и телега, то не простая... а на непростых гостей лучше поглядеть для начала...

Евстигней кивнул и молча показал пару ножей, которые в ножны отправил.

– Запах прежний, – дернул носом Елисей.

А Ерема только кивнул, мол, прежний.

– И ведро на телеге с моей меткой, – добавил Еська и отступил на всяк случай. – А что? А вдруг бы потерялись? Да я ж свою метку... ее обыкновенному человеку не видно!

– Ишь, умник. – Архип Полуэктович к котелку подошел. – Рыбу где брали?

– Так Лойко еще вчерашнего дня наловил. Всю ночь просидел, а теперь вон... – Еська указал на кучу листвы, в которую боярин и закопался по самую маковку. Спит, стало быть?

И что это за сон, если его даже вопли Егоровы да ругань деда Михея не перебили? Уж не тот ли, не мертвый?.. Или просто полог тишины поставил? Полезная штука, когда выспаться надобно. От комаров опять же спасает.

– Понятно. А ты, внученька, не сиди сиднем, помоги этому...

Егор руку протянул и отвернулся, только щеки запунцовели. Стыдно ему было? За что? За то, что наставника не распознал? Аль за то, что его, боярина, дед какой-то по поляне гонял?

Руку я мазью обмазала да словом заговорила, к утру пройдет.

– Ты... спасибо, – сказал Егор и отвернулся.

Подбородок вздернул.

Ага, гордость очнулась, значит, жить будет.

Я в стороночку отошла, подальше от Егора, поближе к телеге. И вправду делов ныне хватит. Вона, надобно миски отыскать, скатерочку какую-никакую. Хлеба порезать, сальца. Были в телеге и огурчики соленые, капусточка, да и пирогов мне Хозяин в дорогу собрал цельную корзину, чтоб, значит, не оголодала.

– Думаете, не поняли... – Еська, бестолочь этакая, пирожок с лету ухватил да, разломивши пополам, обе половины в рот и сунул.

– Думаю, что есть шанс. – Архип Полуэктович на седло сел, ноженьки перекрестил, руки, на колени положил. – Пока мы с вами едем... А там будет видно.

И от пирожка кусочек отщипнул.



Потянул носом.

– Переварите, ироды... Кто ж ершей столько вываривает? Никакого умения, – пробурчал и ложку отобрал. – И тмином попортили. Нельзя в уху тмин сыпать!

Вскороности сидели мы тесным кругом, ушицу пробуя.

Ой, хороша была...

А к утрецу еще один экипаж прибыл. Как экипаж – телега обыкновенная, не самая новая, однако крепкая еще. Тянула телегу кобылка соловая, а правил ею паренек вихрастый с конопатым носом. Промеж же мешков – может, с пшеницей, может, с шерстью, а может, еще с чем – две девки сидели: одна носатая да косоватая, другая рябая, что яйцо перепелиное. И обе жизнью крепко недовольные.

За телегою ж мужичок брел, лысоватый, в мятой одежонке.

– Долго ходите. – Архип Полуэктович над костром рукой провел, и притихло пламя, ушло в угли, а угли в землю.

Выпрямилась измятая трава.

Распрямылись ветки.

– Да уж. – Мужичонка сплюнул. – Кому-то собраться...

– Не понимаю, – рябая девка юбки подобрала да на землю спрыгнула, – почему мы должны куда-то там ехать? В конце концов, это просто-напросто неприлично! Одни, среди мужчин... Что будет с нашей репутацией?

– Не одни, – возразил паренек и ладонями по лицу провел, морок стряхиваячи. – Здесь Зослава.

– О да, целая холопка...

Маленка скривилась.

Вот же... а под личиной она краше была.

– Зослава не холопка, – устало произнес Илья, второй сестрице руку подавая. Та, по обыкновению своему, была бледна и печальна. И с телеги не сошла, почитай, сползла, охаючи да ахаючи. На землю ступила, покачнулась и едва не упала.

– Ага, княжна... Слышали... – Маленка фыркнула и огляделась. – Ты-то и рад будешь нас уморить.

– Прекрати...

А она взяла и послушала.

Вот с того дня мы и ехали. На первой телеге Архип Полуэктович со скарбом казенным, коий я ему только доверить могла, а на второй – мы, стало быть, женской компанией, которая была тесна и тепла, что кубло гадючее.

Следом царевичи, Кирей с Ареем, который невестушку свою, царицей жалованную, седьмой дорогой обходить силился, да Ильюшка, родственной любовью вконец измученный. День так ехали, другой и третий уж разменяли, и верст не один десяток, а сил моих душевных и вовсе безмерно. И вот чуялось мне, что не за просто так те силы из меня тянули.

Грелось колечко.

Камушки порой так и вовсе вспыхивали гневно, и тогда кривилась Маленка, отступалась и, зарывшись в одеяла, кои вытащили для хворой ейной сестрицы, оттудова уже принималась стонать громко. Ныне же, в нору свою нырнувши, она нос высунула и громко, чтоб, значит, я наверняка услышала, сказала:

– А платье тебе на свадьбу справим шелковое... Видывала я такую ткань, Люблянушка, не ткань – а загляденье. На алом шелку цветы багряные будто бы. И жемчуг россыпью... Венчик из камней самоцветных, чтоб все видели, не холопку какую в жены берут...

Сказывает и на меня поглядывает.

А я что?

Молчу. Держу вожжи да мыслю об одном: когда-то ж должны мы до деревеньки той добраться, где меня от этой компании избавят.

Надеюсь.

Ибо иначе за себя не поручусь. Забить не забью, а вот косы повыдирать – сие самое честное дело...

А дорожка влево свернула.

И вправо.

И стала такой... Мы-то и прежде не по тракту цареву ехали, но ехали же. А тут... Все тесней смыкались колючие стены. Все ниже спускались тяжелые ветви лещины, так и норовя по лицу зеленой плетью хлестануть. Сныть разрослась, а крапивы, той и не видать. Зато расстилаются поля дымянки, хоть ты телегу останавливай и собирай вдоволь. Дымянка – трава полезная. От желудочных хворей да нутра больного, а рядом и толокнянка, и женская трава, которую не в каждом лесу встретишь...

Архип Полуэктович конька своего тронул да вперед выехал.

Принюхался.

– Скоро уже, – сказал он странным голосом. – И вправду, похоже, поехали туда, не знамо куда, да прибудем...

Кирей дивного коня своего по гриве потрепал да, будто прислушавшись к чему-то, сказал так:

– Вода рядом. Заклятая... И магия это древняя, не чета нашей.

– Значится, – Архип Полуэктович парасольку сложил, – куда бы ни приехали, а к

месту...

## ГЛАВА 5

### Братовая

Елисей слушал лес.

А лес молчал.

Не бывало такого, чтобы живой лес да молчал. Всегда что-то да есть. То ли шелест листвы, в которой возился еж, то ли хруст ветки под лисьей лапой. Вздохи оленей, которые сутью своей чуяли близость волка. И это если птиц не слушать.

Птицы в лесу были всегда.

Или комары.

Егор хлопнул по шее. Нет, комары в этом лесу имелись, но легче от того не становилось. Елисей с трудом сдержал рык: лошадь под ним и так нервничала, не хватало, чтоб понесла.

– Неладно? – Ерема подъехал ближе.

Он смотрел так... виновато, что сердце в груди кольнуло.

Ссора? Не было ссоры. А все равно будто сломалось что-то важное, и как починить?

– Неладно, – согласился Елисей, разглядывая брата искоса.

Прежний он.

Только похудел. И в последние дни почти не ест. Говорит – не хочется. Переживает. Сессия ведь, экзамены... Можно подумать, его из-за несданного экзамена отчислят. А ночью стонет. Тронешь – просыпается сразу, садится с глазами раскрытыми, а в них – пустота.

Спрашиваешь, что снилось.

Ничего.

И не лжет.

– Мерзнешь? – Елисей коснулся холодной руки брата.

– Что? А... нет... не знаю. Лис... – Ерема придержал коня, позволяя Лойко себя обойти. И Емельке, который привычно держался позади. Ехал и по сторонам головой крутил.

Илья.

Телега с девушками, которые Елисею сразу не понравились. Пахло от них болотом.

Арей.

Кирей на дивном коне.

– Что? – Евстигней придержал коня, но Лис покачал головой. И Евстя понял. Тронул бока злющего жеребца, с которым никто, кроме Евсти, сладить не умел. Конь оскалился и попытался было тяпнуть кобылку Еремы, но та привычно отступила в сторону.

– Лис... ты меня простишь? – Ерема вытер пот. А ведь выглядит он совсем худо. Белый. Под глазами мешки темные. И дрожит мелко, точно в ознобе.

– За что?

– За все. – Он облизал губы. – Я дураком был, и... кажется, лучше мне сейчас... потеряться.

– Чего?

Вот уж точно терять брата Елисей не собирался. Но тот перехватил руку и заговорил быстро, захлебываясь:

– Я дураком был. Подумал... тебе было плохо. И мне плохо. Нас связали, не сказавши толком, чем это грозит. А он подошел... предложил... я взял клятву крови, что он... проведет обряд. Разделения.

Елисей вздохнул.

И прислушался.

Качнулись ветви, будто слетела с них невидимая птица... Сорока? Юркий королек, в котором весу на два пера? Или не птица вовсе?

– Он провел... сначала все было хорошо. Тебе ведь стало легче?

И Ерема с такой надеждой смотрел, что Елисей кивнул.

Стало.

Луна пришла.

И позвала. И он, услышав голос ее, не стал противиться зову.

Он очнулся незадолго до рассвета, уже за Акадэмией, из которой выбрался, а как – не помнил.

Он лежал на берегу пруда. И пил воду. И слизывал с лап свежую кровь. Оленью. Растерзанный зверь лежал здесь же, и Елисей мысленно попросил у него прощения. А потом вновь обернулся, на сей раз полностью сохраняя разум и память. Он вернулся

по своему следу тайным путем. И никто, кроме Еремы, ничего не понял.

– А потом... я не знаю, что происходит... все время хочется спать. И было несколько раз, что я терялся. Засыпал, но открывал глаза и понимал, что нахожусь где-то... не там нахожусь. Понимаешь?

Елисей покачал головой.

– Я больше не доверяю себе. Я не знаю, что еще он со мной сделал. Не только обряд ведь... И значит, мне нельзя с вами.

– Почему раньше не сказал?

– Потому. – Ерема вытер испарину рукавом. – Сам не понимаешь?! Меня бы не выпустили... заперли... лечить... а там и залечили бы... Я не хочу умирать. Я дурак, но умирать не хочу. Отпустить нас не отпустят. Слишком много знаем... И надо уходить. Сейчас, пока есть еще шанс, пока... Смотри.

Он тронул кафтан.

Обыкновенный, из добротного сукна шитый.

– Рыжих в царстве хватает... А сейчас я на царевича похож не больше, чем ты... чем мы все... Денег есть немного. Доберусь... куда-нибудь доберусь, а там и дальше. Я подумал, что к степям поеду. Там хватает всякого... люду. Затеряться будет легче, чем здесь.

– Уходишь, значит?

Эта мысль Елисею не понравилась. Настолько не понравилась, что не удержал он волчью недовольную натуру, отозвалась она раздраженным рыком.

– Ухожу. Прости... И тебе уйти советую. Пока никто не понял, кем ты стал, но это ведь дело времени. До новой луны пара дней осталась. И ты ее уже слышишь.

Елисей кивнул.

Слышит.

Как не услышать, когда она рядом, белая госпожа, легкая шагом своим, прикосновением близкая. Того и гляди скользнет по загровку прозрачная длань лунного света и ухватится крепко, вытащит волчью подлую суть людям на кровавую потеху.

– Обернешься, и... не посмотрят, что из одной миски ели. – Ерема рванул воротник. – Не отпустят. Поднимут на колья. Скажут, если и не убивал, то убьешь... Сам знаешь, с такими, как мы, разговор короткий.

– Не доедешь. – Елисей протянул руку, но прикоснуться к себе брат не позволил, отпрянул, и лицо исказилось.

– Не надо!

– Ты болен.

Этак он далеко не отъедет. Упадет в кусты да и сгинет.

– Без тебя знаю. – Ерема потряс головой. – Шумит... шепчет, что нельзя уезжать. Что я с вами должен... за тобой приглядывать должен... А значит, самое верное – уехать. Нельзя его слушать.

Он зажал уши руками.

– Нельзя. Он меня отпустит, когда поймет, что я не с вами, что ушел... что...

Ерема дернул за поводья, заставляя кобылку пятиться. И та недовольно мотала башкой, грызла удила да всхрапывала.

– Успокойся. – Елисей повернулся к дороге.

А телега далековато уползла.

И остальные. И знают ли, что Ерема задумал? Догадываются... И как быть? Задержать? Не позволит. Он для себя все решил. И значит, только силой.

– Не получится. – Ерема слишком хорошо знал брата. И, привставши на стременах, шлепнул кобылку по шее, за повод дернул. – Не надо, Елисей... Если все будет хорошо, я тебя найду. Обещаю, что я тебя найду, слышишь?

– Слышу.

– Или ты меня... мы еще свидимся. Оба выживем и свидимся. Но если вдруг случится, что я... что вернусь к вам... и стану говорить, что передумал, не верь. – Ерема сглотнул. – Я не передумаю. А он... заберет мою шкуру... оборотни ведь разными бывают, помнишь?

– Помню.

– И ты узнаешь, когда я – это не я... А если и не узнаешь... я не собираюсь возвращаться. Поэтому если... если вдруг... бей, не жалея. Живым я ему себя не уступлю. А потому если придет, то меня уже нет...

– Дурак.

Елисей руки положил на луку седла.

Не станет он задерживать брата.

И уговаривать.

И...

Доберется до деревни, тут уж недалеко – ветер несет запах дыма и съестного, и значит, скоро встанут... А там ночь. И луна близкая. Поможет пасынку. След, глядишь, не растает, а волк на ногу легок. Догонит этого, бестолкового... И там уже видно будет, что и как.

– Я... тоже тебя люблю, Вересень...

Этого имени Елисей не слышал давно, так давно, что и отвыкнуть успел уже. А брат, кривовато усмехнувшись, добавил:

– Прости за все... и не забывай, кто ты есть. Не позволяй ей надеть на тебя ошейник. Ты волк, Верес, а не шавка домашняя.

– Как и ты, Варей.

Он развернул кобылку и подхлестнул лозиной.

Елисей вздохнул и, дождавшись, когда брат скроется за поворотом – лес словно проглотил его, – спешился. Он встал на четвереньки и вдохнул тяжеловатый конский запах.

Фыркнул.

Закрыв глаза, запоминая.

Да, определенно... вечером... Он догонит Варей вечером... и дальше решит, что им делать.

Деревенька стояла в низине. Вот дивно! Люди обычно поверху селятся. Оно и верно. По весне низины водами тальми полнятся, по осени – дождевыми. И небось туточки все погребла плавают... Нет, я слыхала, что есть такие деревеньки, где дома вовсе на воде ставят, на сваях, а вместо телег лодки пользуют, но туточки ж вона, лес кругом...

Дорога сбегала в низину.

Поля?

Не было полей.

И скотины. Время-то самое летнее, травица сочна, мягка, а меж тем ни одной коровы. На дальние луга выгнали? А собаки? Отчего ни одной, самой захудалой шавки навстречу не выскочило? Ограда? Стоит частокол, да только видно, что погнивший, вона, два бревна и вовсе вывалились.

– Божиня милосердная, – вздохнула Маленка, и я с нею мысленно согласилась. Вот не по нраву мне было сие место.

Ворота распахнуты.

А на воротах тех ворон сидит, черный, страшный. Нас увидел и раззявился, захохотал человеческим голосом. Впору крестом Божининым себя осенить.

– Цыц, – велел ворону Архип Полуэктович. – Хозяйка где?

Птах, тяжко хлопнув крыльями, поднялся.

Еще и говорит.

– Зось, рот закрой. – Архип Полуэктович огляделся, нахмурился, пересчитав не то телеги, не то царевичей. – Ерема где?

– Там, – Елисей честно указал на лес.

– Сбежать задумал?

Елисей плечами пожал, мол, может, и задумал, да мне не сказал.

– Ничего. – Наставник не озлился, усмехнулся так кривовато. – Отсюда и захочешь – не убежишь. Что ж, господа студиозусы, добро пожаловать... к месту прохождения летней полевой практики.

И еще пару слов добавил.

Замысловатых.

Небось на своем, вивернем. А может, и матюкался по заморскому. Я запомнила. На всяк случай.

В ворота первым Лойко въехал.

Огляделся.

– А тихо тут, – сказал вроде и вполголоса, однако же услышали все. – Мертво, я бы сказал. Архип Полуэктович, не подумайте дурного, но мнится мне, что место это – не совсем то, где оказаться мечтают.

Тиха деревенька, как погост в полночь.

Стоят дома темные. Стоят дворы пустые, забуявшие. Сныть поднялась стеной, крапива колючие листья распушила. Малина шипами оцетинилась.

Ни людей.

Ни скотины.

Ни даже куры захудалой какой...

Ползем по улице. Хлопцы сами собой за оружие схватились, плотней один к одному подобралась, заслонили нас от деревни этой. Маленка притихла. Даже Любляна уже не стонет, выползла из одеял да головой крутит всполошенно, а в глазищах страх плещется.

Но едем.

По улице широкой... а дорога-то мощенная крупными камнями. И видится вдали подгнивший крест Божинин, почти обвалившийся. Под ним же на лавочке старушка сидит да рукодельничает. Спицы в руках мелькают, пляшет клубок шерстяной, на юбку положенный.

– Что-то вы, соколики, долго добирались, – молвила старушка сладеньким голосочком, от которого у меня и жилочки задрожали, и поджилки затряслись. – Я



уж и баньку истопила, и стол накрыла...

– А я вот всегда знал, – молвил Еська, на телегу перебираясь, – что она ведьма.

Марьяна Ивановна улыбнулась этак с укоризной.

Услышала, стало быть.

Конец ознакомительного фрагмента. Купить полную книгу вы можете на страничке автора:

<https://www.litres.ru/karina-demina/vnuchka-berendeeva-letnyaya-praktika/>